

Анатолий Рошупкин

К 70-летию автора

Текучая вода

Издание второе, дополненное

Альгаир
Ростов-на-Дону
2019

ББК 84 (2-РОС - 2РУС)
Р 81

Р 81 **Рощупкин А.В.,**
Текущая вода. Сборник. – Ростов-на-Дону:
«Альтаир», 2019, – 204 с.

Очередная книга Анатолия Рощупкина выходит к его 70-летию. Это – повторное дополненное издание сборника «Журавли вернутся...». Автор и коллектив типографии «Альтаир» благодарят за помощь в выпуске книги Почетного авиастроителя России Александра Трофимовича Шамшуру.

ISBN 978-5-91951-499-2

© «Альтаир», 2019
© Анатолий Рощупкин, 2019

Живут во мне воспоминания...

(фрагменты повести «Вечерний монолог»)

Шли пятидесятые годы. Я жил с родителями и бабушкой Акулиной в маленькой (примерно три на четыре метра) избе, крытой соломой с толстыми саманными стенами и земляным полом. Метрах в двухстах тоже под соломенной кровлей стоял крепкий кирпичный дом бабушки Даши. Туда я любил бегать...

Позже, когда бабушка Даша умерла, в доме временно разместилась колхозная контора, и я частенько «путешествовал» между столами бухгалтеров, бригадиров и счетоводов.

Мать моя работала звеньевой с самой войны, с пятнадцати лет. О том, как работала, свидетельствовала её медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Я, помню, играл этой медалью с профилем усатого дядьки, пока не оторвал от крепления и не закатил её в такое место, где она благополучно потерялась навеки. Удостоверение, к счастью, осталось – оно помогло матери избежать тюрьмы. Хотя она ни в чём не была виновата. Это я знаю точно.

На лугу возле дома бабушки Даши лежали горы картофеля, свеклы, лука, привезённые с полей колхоза. Периодически мать вместе с подругами в качестве грузчиков возила овощи на полуторках в райцентр – сдавать государству. Иногда они брали с собой меня.

Здорово было ехать «верхом» на картошке и взирать на убегающие поля, перелески, дороги. А вот и Долгоруково с шипящими паровозами на станции, скрипящими повозками на улицах, цокотом копыт по мостовой. Вокруг было много людей. Люди шли весёлые, оживлённые. В пятидесятых годах, в первую десятилетку после страшной войны, жили бедно, но ... счастливо! Верили тому, что писали газеты, говорилось по радио. Верили Сталину. Почти в каждой деревенской хате висел его портрет. Как не верить после

таких испытаний, смертей и потерь! Вера пробуждала в исстрадавшихся людях доброту, открытость, участливость.

Помню день, когда мы узнали о смерти Сталина. Утром 6 марта 1953 года провожали отца на Донбасс – там он собирался найти работу, получить жильё и забрать нас с матерью. По тяжелому, подтаявшему снегу мы дошли уже до середины деревни, когда какой-то мужичонка в серых валенках с галошами прискакал на гнедой кобыле со стороны колхозных конюшен и громко крикнул:

– Сталин умер!

Слышавшие его люди замерли. Остановились возле хат, на дороге, у колодца. Так, наверное, сообщали о начале войны. Встревоженный отец поспешно поцеловал нас с матерью и быстрым шагом пошёл на станцию. Мы провожали его взглядом до тех пор, пока он не скрылся в берёзовой роще. Потом пошли обратно. У колодца навзрыд плакала какая-то тётка. Из-за густого снега я несколько раз падал, и мать взяла меня на руки.

Обычно говорливая, постоянно что-нибудь напевающая, она шла молча. По её лицу катились слезинки. Они катились совсем рядом со мной, и я дотронулся до них рукой. Почему плакала мать? То ли от порывистого еще зимнего ветра, то ли от того известия, что сообщил всадник. Ответ на этот вопрос я так и не узнал...

Запомнились летние праздники. По вечерам парни и девушки гуляли на «мотане» – с гармошкой, плясками, частушками.

Моя милка – хулиганка,

Моя милка – атаман.

У начальника милиции

Отрезала наган!

На День молодёжи, который часто совпадал с Троицей, в берёзовой роще за околицей Красного проходили районные гуляния. Нам, пацанам, они казались сказочными. Помню среди гуляющих молодых своих родителей, их приятелей, красивую девушку с толстой русой косой и большими серыми глазами – младшую сестру матери Люсю, любимую мою тётушку. У неё был сильный, почти оперный голос.

Под высокими деревьями работали выездные буфеты. На дощатых подмостках выступали самодеятельные артисты из разных сёл и деревень Долгоруковского района. На густой траве, пахнувшей лесными цветами, сидели зрители – жители не только Красного, Ильинки, Симачей, но и Долгоруково, Стегаловки, Свишней, Стрельца, Братовщины, Жерновного... Эх, давно нет таких праздников, а жаль!

Среди зрителей было много стариков и старушек. В деревне их уважали так же, как сегодня уважают только на Кавказе. Тогда возразить дедушке или бабушке, а, тем более, обидеть их, считалось большим прегрешением, осуждаемым повсеместно. Сегодня, к сожалению, это далеко не так...

Стариков того времени было за что уважать. Многие из них пережили две или три войны, коллективизацию, голод, разруху. Не смотря ни на что, они рожали и воспитывали детей, поднимали внуков, очень много работали, воевали и снова работали. Такова была и моя бабушка Даша, царствие ей небесное!

* * *

В детстве любой ребёнок берёт пример со взрослых, самых близких ему людей. Пожалуй, наиболее значительным примером для подражания был для меня отец. После его кончины в 1994 году я посвятил ему документальный рассказ. Перед тем, как начать эту главу своих воспоминаний, я перечитал его ещё раз и понял: лучше и точнее нарисовать образ отца не смогу.

Правда, одно качество его характера, всё же не отразил. Отец не стремился возвышаться над людьми, у него не было и грамма высокомерия. Как-то в начале шестидесятых его назначили объездчиком совхозного сада. Это была довольно престижная должность: человек – на коне, контролирующий работу сторожей, правая рука управляющего отделением.

Но долго на этом посту батя не проработал. Был снят за ... доброту. Когда он кого-нибудь задерживал с сумками яблок, то тут же и отпускал. Ну не мог он, сам не раз приносивший из совхозного сада пахучую антоновку или краснобокий штрифель, за то же самое наказывать людей. Тем более – односельчан. Помню, как он переживал это состояние – начальника поневоле...

Когда его сняли, и он вновь застучал молотком, сбивая ящики для яблок в мастерской, то сразу ожил, повеселел, пришёл к себе.

Отец никогда не читал нам с братом нотаций. Изредка в порыве гнева (всякое случалось) бил меня по голове костяшками жёстких натруженных пальцев. Я плакал, но долго на него не обижался. Значит, получал за дело...

Отец был обидчив. Мной он был недоволен из-за того, что я не всегда охотно помогал ему по хозяйству. Мать иногда вздыхала:

– Сыночек, брось ты эти книжки, походи на огород, помоги отцу картошку окучивать...

Отец был немногословен. Но если уж говорил, то по делу. Помню в Красном, узнав, что меня «отметелили» стегаловские пацаны, позвал к сараю.

– Садись, рассказывай.

Я рассказал со слезами на глазах, думал, что сейчас отец ринется искать моих обидчиков.

– Перестань хныкать, – поморщился отец. – Почему не сопротивлялся?

– Ты что, я один, а их трое, – я опять всхлипнул.

– Я тоже рос один, – сказал отец, – меня тоже поначалу обижали. Лет десять мне было. Сидел вон там, на берегу пруда, рыбу ловить собирался. Подошёл один малый, года на два меня старше, схватил удилице и забросил его в воду. На берегу ребята, друзья этого малого, наблюдают, хохочут. Кричат:

– Дай ему, китайцу, по шее, дай, Колян!

Объёмистый Колян, смеясь стал приближаться ко мне. Что делать? Кому жаловаться? И убежать уже поздно. И вот тогда почти бессознательно кинулся я сам к обидчику, прихватив лежащую у воды пустую бутылку. Со всего маху влупил я этой бутылкой Колян по лбу... Бутылка разлетелась вдребезги, по лицу пацана потекла кровь. Он заорал благим матом и рванул прочь – я и не видел больше никогда, чтобы на наш бугор так быстро кто взбирался. Убежал с воем мой обидчик, за ним его товарищи сгинули, будто их и не было. С тех пор меня никто в деревне не трогал.

Отец дотянул сигарку, щелчком отбросил её в траву и пошёл по своим делам.

Тот рассказ отца пригодился мне в дальнейшей жизни. На другой день, когда долговязый Славка Кузякин, сын моего крестного, хотел по обыкновению отвесить мне подзатыльник, я увернулся и тут же схватил палку, приготовленную заранее. Ударить не успел. Славка позорно бежал с нашего двора. Больше у нас с ним конфликтов не было. Славка даже как-то пригласил меня домой, где разрешил покопаться на книжной полке. Ни у кого в Красном столько книг не было, и мы со Славкой вскоре стали друзьями.

Пригодился отцовский совет «не дрейфить» и через много лет на острове Сахалин в самом начале армейской службы. Как-то после отбоя трое солдат перехватили меня в туалетной комнате.

– Постирай, – протянул мне свёрток с грязным бельём коренастый конопатый ефрейтор. – Мыло – на подоконнике. И смотри, чтобы к утру всё было сухое...

– Так у нас положено, – ласково улыбнулся маленький чернявый рядовой.

За их спинами молчал рослый рыжеватый воин с бесцветными глазами.

– Так это у вас положено, – сказал я, стараясь усмирить прыгающее в груди сердце, – а у нас – нет!

– Дерзишь! – вдруг заговорил здоровяк за спинами солдат.

– Ну извини, молодой, будем тебя учить уму-разуму, – ефрейтор оглянулся, что-то буркнул и высокий прикрыл дверь туалета.

Ефрейтор и маленький брUNET расстегнули ремни с металлическими бляхами и стали наматывать их на руки.

Я вспомнил отца, его рассказ про бутылку и, оглядевшись, моментально выхватил из железной урны стальной корчик.

– Если тронете – не обижайтесь. Одного из вас успею убить. Насмерть! Выбирайте, кто это будет...

И для убедительности я стал в боксёрскую стойку: левая рука впереди, правая – у подбородка с металлическим корцом...

Солдаты опешили. Они явно такого не ожидали. Посмотрели друг на друга, помолчали, потом ефрейтор процедил сквозь зубы:

– Ладно, живи пока, салага. Связываться с тобой неохота, в другой раз поговорим.

Они ушли, а я ещё несколько минут слышал стук собственного сердца...

Через день или два меня назначили секретарём комитета комсомола танкового батальона, а через полгода – старшиной роты. Ребята те стали моими подчинёнными, но встречу в туалете я им не вспоминал. Они – тоже, хотя, уверен, не забыли. Ребята оказались, в общем-то, неплохими солдатами, да и отношения у меня с ними сложились почти дружескими.

Холодным ноябрьским утром 1973 года они и ещё несколько солдат батальона провожали меня на аэродром – я улетаю на материк, а они оставались служить еще полгода. Теперь, когда слышу о «страшной» проблеме дедовщины в армии, вспоминаю тот сахалинский случай. Слишком робкими, изнеженными приходят сейчас служить ребята. Слишком много среди призывников «маленьких сынков»...

Отец тоже служил. И не один год, как я, а целых три. Служить ему посчастливилось не где-нибудь, а в Москве. Из армии батя привёз большую, формата – А-3, книгу «Александр Суворов в отечественном изобразительном искусстве» – награду «...за успехи в боевой и политической учёбе». Шикарные иллюстрации картин художников А.Е. Коцебу, П.А. Алякринского, О.Г. Верейского, В.И. Сурикова и других я изучал с детства, запомнил их до мелочей.

Под каждым изображением великого полководца были помещены его высказывания. Запомнились такие: «Кто испуган – наполовину побеждён», «Кто отважен и смело идёт на неприятеля, тот одержал уже половину победы», «На себя надёжность – основа храбрости». Я никогда не мечтал стать военачальником, но эта замечательная книга помогла мне сформировать характер и сформулировать мысль: с детства надо самостоятельно прео-

долевать трудности, воспитывать в себе смелость и мужественность.

Помню, лет в тринадцать на зимних каникулах я пошёл на лыжах из Томакино в Грызлово к тётке Люсе, которая уже несколько лет жила там, в семье мужа, Петра Григорьевича Малютина. Путь был неблизкий – километров двадцать пять. Мела пурга, но я пошёл, передвигая тяжелые неудобные лыжи. За деревней ветер усилился, не видно – ни зги. Я шёл вдоль большака, не видя дороги, ориентируясь лишь по телеграфным столбам. В какой-то момент стало одиноко в снежной замети. Внутренний голос уговаривал вернуться, но я шёл и шёл вперёд...

В Грызлово Люся растёрла мне лицо снегом, напоила чаем и заплакала:

– Разве так можно? Заблудиться мог, да и волков, говорят, в лесополосе видели. Ах ты, Тень, Тень...

Я слушал тёткино воркование, засыпая на широкой русской печи. В душе моей была гордость от проделанного пути.

А вот другой случай. Как-то одноклассник, вечный соперник, Вовка Енин пригласил меня к себе домой и достал две пары кожаных боксёрских перчаток.

– Попробуем? – Енин загадочно улыбнулся.

– Давай, – я стал надевать перчатки с желанием отдубасить худенького невысокого Вовку. Правда, перчатки я надевал первый раз в жизни.

Мы стали друг против друга. Неуловимым движением Енин ушел от моего размашистого удара и так саданул меня в челюсть, что из глаз посыпались искры.

– Уметь надо, – сказал издевательски Вовка, очень довольный результатом боя.

С тех пор у меня появилась цель – обязательно научиться боксировать. Как это сделать без спортзала? Выход нашёл. В сенцах, на железный крюк я повесил мешок плотно набитый душистым сеном. Каждый день по несколько минут молотил я этот мешок кулаками.

Тренировался всю зиму, а весной с Генкой Шатохиным мы купили в Ельце по паре кожаных боксёрских перчаток. Бои про-

водили на лугу перед нашим домом. Поочерёдно я выходил против всех томакинских пацанов, кто решался одеть перчатки и здорово их колотил. Особенно доставалось Сашке Мишину по прозвищу Гунн, моему постоянному сопернику.

Занятие боксом пригодилось в дальнейшей жизни. Не забыть, как на Сахалине нокаутировал я высокого красивого сержанта, молдаванина Костю Калистру. В памяти и ещё один случай. Уже работая заместителем редактора «Молота», приехал с семьёй в гости к брату в Липецк. Вечером вышли с ним прогуляться по улице Ленина. Внезапно на нас налетела группа подвыпивших ребят. И Николай, и я были сбиты с ног, но мне удалось подняться. Хорошо поставленным ударом я достал одного из хулиганов, после чего он рухнул на асфальт. Я кинулся к группе, которая лупила брата...

Нам с Колей тогда удалось благополучно добраться до дома. Правда, не умевший драться брат, получил несколько ощутимых ударов. Слава богу, ни у кого из нападавших не оказалось ножа...

Образ отца накрепко врезался в память. Я воспроизвёл его в целом ряде произведений: в повестях «Ночь в декабре», «Поезд в деревню», рассказах «Брат», «Прощай, ива...» и других.

Жил отец трудно. К концу жизни - подавленно. Судьба безжалостно наказала его за опрометчивые шаги.

Вскоре после похорон матери, состоявшихся 27 мая 1987 года, он собрал нас, сыновей с семьями, в саду нашего томакинского дома и начал знакомить с ... невестой, Зинаидой Васильевой – бывшей учительницей, высокой, слегка игривой женщиной в годах.

– Вот хотим сойтись, вместе жить, – сказал отец. – Встретились, понимаешь, два одиночества...

Отец любил щегольнуть фразами из песен или популярных кинокартин. Но, несмотря на шуточные нотки в голосе, чувствовалась внутренняя напряженность. Чуть больше месяца назад под этими яблоньками на двух табуретках стоял гроб матери, возле которого пели монашки...

Младший брат Николай хмуро молчал, а я среагировал быстро:

– Еще материнская могилка не остыла, а ты уже жениться собрался. Не по-людски поступаешь, отец, обожди хотя бы полгода...

– Да мы что с Васей только сегодня увиделись что ли? – усмехнулась Зинаида Васильевна.

– Да уж рассказывали мне, как вы тут «виделись» возле смертного одра матери, – я резко поднялся с лавки.

Начался спор, быстро переросший в тяжелую ссору. Мы с женой собрали детей и, не смотря на то, что на дворе была ночь и что я успел выпить, уехали на «жигулях» за 25 километров в Тербуны, к теще.

Помню, тогда, в запальчивости, я высказал много нелестных слов в адрес отцовской пассии – Зинаиды Васильевны. К сожалению, оказался прав. Бывшая учительница, как говорится, сполна использовала момент для решения своих материальных нужд. После смерти отца (почти с уверенностью теперь можно сказать, что его убил сын Зинаиды Васильевны, уголовник-рецидивист) она быстренько оформила на себя дом и хозяйство, нажитое отцом совместно с матерью.

После того «сватовства» продолжительное время мы с отцом были в ссоре. Не виделись, не писали друг другу. А потом... Как-то во время очередного отпуска ехали из Тербунов в Стегаловку мимо Томакино на материнскую могилку и вдруг маленький Павлик, сидящий на заднем сиденье «жигулей», вскрикнул:

– Гляньте, – дедушка!

На миг я обернулся и увидел: отец шёл по обочине дороги, не замечая нас. В сердце защемило, и... я не остановил машину. Уже из Ростова написал ему. Он тут же ответил. На другое лето увиделись. Два года было брошено коту под хвост...

Последняя встреча с отцом состоялась летом 1994 года. Вместе с моей семьей он поехал из Долгоруково в гости к Николаю в Липецк.

В Липецке мы ждали брата в сквере, недалеко от Нижнего парка. Вечерело. Накапывал дождь. Мы с отцом стояли под навесом рядом с другими людьми, и он прижался ко мне худеньким озябшим телом. Отец стоял тихий, чем-то подавленный, уставив-

шись взглядом на россыпь падающих дождинок. Мне вдруг стало нестерпимо жалко его...

На другой день в новой трёхкомнатной квартире у Коли собрались мои друзья молодости – журналисты Юрий Дюкарев и Анатолий Мерлев. Мы впервые встретились вместе спустя пятнадцать лет после Тербунов.

Дюкарев вдруг заметил, что за столом на кухне нет моего отца. Сбежал за ним в комнату, где он возился с внуками.

– Без Василия Васильевича нельзя, – сказал Юрка и налил ему полную рюмку водки.

– Нет – нет, не надо, – засуетился отец, – я не буду пить.

И не пил. Почему так поступил много пьющий отец – сказать трудно. Плохо себя чувствовал? Вряд ли. Скорее всего, ему было стыдно некрасиво выглядеть перед нами. С совестью он не расставался никогда.

С отцом в Липецке связаны два почти мистических случая. В этот раз, за полчаса до нашей встречи, мы трое, вдруг увидели на пороге «Детского мира» нашего бывшего тербунского редактора Н.Я. Шашкова, с которым вели «бои местного значения» полтора десятка лет назад. Всё это время он писал на нас жалобы в различные инстанции. Почему-то больше писал на меня и Мерлева. Может быть поэтому подошёл к Шашкову только Дюкарев. Поговорили они ни о чём и разошлись.

В другой раз отец был непосредственным участником удивительного случая. Через несколько дней после смерти матери мы тоже ездили с ним на моём «жигулёнке» в Липецк к Коле. Коля тогда жил с семьёй у тёщи, Зинаиды Григорьевны, в старом трёхэтажном доме на улице Гагарина. На ночь я поставил автомобиль во дворе под большим раскидистым тополем.

После ужина отец вдруг позвал меня на балкон:

– Сынок, убери машину от дерева, а то ветер крепчает – мало ли что...

– Да что ты выдумываешь, – засмеялся я, – сколько раз уже на этом места «тачка» моя ночевала – и ничего...

– Прошу тебя, – почти жалобно сказал отец.

Я чертыхнулся и пошёл с третьего этажа вниз, во двор. И что ты думаешь? Утром мы наблюдали такую картину: сломанный ночной бурей тополь лежал на дорожке, там, где вечером стояла машина....

С тех пор прошло много времени. Столько всяких телепередач про экстрасенсов посмотрелся. Может быть отец тоже обладал какими-то способностями и хотел внести в мою жизнь мир и равновесие. В случае с появлением Шашкова хотел, чтобы повинился я хотя бы мысленно вместе со своими друзьями за обиду, нанесённую когда-то пожилому человеку. Ну, а второй случай, с тополем, и комментировать не надо...

На другой день после встречи с Дюкаревым и Мерлевым, мы уехали из Липецка. В Тербунах я высадил из своей красной «пятёрки» жену и детей, а отца повёз дальше, в Томакино. Мы простились с ним у калитки. В дом входить я не хотел – там металась Зинаида Васильевна, изображая хозяйскую прилежность.

Я обнял отца за худые, но всё ещё крепкие, жилистые плечи. Он ткнулся губами мне в щеку, потом обхватил мою голову руками и вдруг заплакал. Никогда раньше он так не делал. Прощались мы до следующего лета, а оказалось – навсегда...

* * *

Помню и никогда не забуду любовь матери. Эта святая любовь не исчезла, и сегодня отголоски её продолжают согревать душу...

...Мне – около трёх лет. Целый день я жду маму с работы. И вот она приходит – молодая, с шутками-прибаутками, чтобы развеселить меня. С её приходом в тесной и темноватой хате будто становится светлее и просторнее.

Мать берет меня на руки, целует, прижимает к груди. Мне хорошо, спокойно, все тревоги куда-то ушли, испарились. Запах матери я помнил очень долго, пока не вырос, не стал взрослым. Сейчас, конечно, не помню. Выветрили годы тот драгоценный запах свежести, тепла и радости...

Моя мать, Анастасия Стефановна, прожила всего 60 с половиной лет. Сегодня мне, её сыну, больше. Когда она умерла,

мне было 38. Умерла мать от рака. Помню, как в середине октября 1986 года мне в Каменск позвонил брат Николай и сообщил страшную новость. Почему она вдруг заболела? Думаю, сыграла роль Чернобыльская катастрофа – взрыв атомного реактора 26 апреля 1986 года. Припять от Орла и Долгоруково не так уж далеко. Кроме того, у матери был хронический энцефалит, она принимала множество всяких лекарств – организм был ослаблен.

Я сразу же поехал на родину. Впервые за долгие годы мы все четверо: отец, мать, Коля и я встретились в середине осени, а не летом, во время моего очередного отпуска. Тяжелая это была встреча. С фотографической точностью я описал её в рассказе «Прощай, ива...»

16 мая 1987 года я приехал в Томакино (опять по звонку Коли): мать совсем плоха. Вбежав в сени, увидел её, маленькую, исхудалую, лежащую на старом девичьем её сундуке. Она взглянула на меня, беззвучно пошевелила губами – голоса уже не было. Я содрогнулся: одной ногой мать была уже там, в другом мире...

Она с трудом, я ей помог, села, протянула ко мне руки. Я обнял её и услышал шепот – едва различимые ласковые слова. «Вот дотянула до тепла, не подвела вас», – прошептала она и попыталась улыбнуться.

Я не отходил от неё весь день. Рассказывал о детях, о жене. Мать с удовольствием слушала, и я понял, что уходит из жизни она спокойно и даже торжественно, как уходили многие сельские женщины того поколения...

Мать многое в жизни делала, многое пережила, выстрадала. И приближающуюся кончину она принимала спокойно, как должное, как ещё одну работу, которую надо довести до конца.

В тот приезд я думал, она даст мне напутствие, откроет своё заветное желание, которое, может быть, не исполнилось, но мать по-прежнему шептала об отце. Всю жизнь – о нём. Только и слышно было много лет: «Вась, Вась, Вась...» А Вася и гулял, и пил, и руку на неё поднимал...

На другой день, с трудом выйдя на порог, она увидела мою новенькую зелёную машину, на покупку которой выбивала день-

ги у отца. «Проси, не стесняйся, – говорила мне мать тогда, осенью, когда я приехал по первому звонку брата – а то меня не будет – не даст...» С её помощью – выпросил две с половиной тысячи рублей. Столько же дала тёща. Столько же добавили мы с женой. И вот – первый в жизни автомобиль «жигули». Теперь понимаю, без матери его долго бы ещё у нас не было.

Я решил прокатить маму по деревне. Она согласилась. Мы помогли ей одеться, и я усадил её на заднее сидение. Рядом плюхнулся уже изрядно поддавший отец, и поехали.

Я повёз родителей по тем местам, где прошла жизнь матери. Сначала поехали на первое отделение совхоза Тимирязева. Повидались там с её двоюродным братом Иваном Андреевичем и его женой Марусей, объёмистой, внешне грубоватой, но в душе доброй женщиной.

Мать, не выходя из машины, молча, смотрела на них. Маруся заплакала. Иван Андреевич, бывший бухгалтер отделения, маленький, нахохлившийся, похожий на воробушка, говорил о чём-то постороннем, не связанном с болезнью Анастасии Стефановны (он всю жизнь обращался к ней только так – по имени-отчеству).

Потом мы поехали в Красное. Почему-то не остановились у дома её брата, дяди Васи, где мать выросла, где ещё стоял погреб, в котором пряталась их семья от немецкой бомбёжки и на пороге которого упал с прострелянной головой её брат Николай...

Не остановились мы и у бывшей нашей саманной хаты, где еще жила бабка Акулина. Осторожно пересекли ручей в низине, под школой, и по лесной дороге поехали к большаку в сторону Стегаловки.

Справа и слева росли тополя, посаженные руками матери и её подруг в шестидесятые годы, когда она работала в лесничестве.

Она вдруг тронула меня за плечо, и я остановил машину. Наклонившись к ней, услышал шепот: «Хорошо ездешь, осторожно. Так – долго будешь ездить...»

Думал, скажет что-то более важное. И на другой, и на третий день надеялся на это. Не сказала. Шептала о чём-то малозначительном. Почему не сказала ничего сокровенного? Не вспомнила ни про Колю, ни про наших детей? Тогда я даже обиделся на неё за это, а теперь, через четверть века, понимаю: она имела право сделать так, как сделала. Она отдала нам с братом свою материнскую любовь и, уходя от нас, видимо, не хотела нарушать её слезами, причитаниями, смертной тоской. Спасибо тебе, мама, за мужество...

Вечером с первого отделения приехал фельдшер Василий Семёнович, чтобы сделать матери укол морфия. Когда он, пожилой, грузный человек с равнодушным взглядом, готовил шприц, а она, истощённая и истонченная страшной болезнью повернула в сторону этого блеснувшего шприца лицо, я увидел её глаза – сосредоточенные, напряжённые. Наверное, она ещё интуитивно верила, что не всё кончено, ведь она всегда верила врачам, в волшебную силу их рук – там в Томакино верили и другие, так было заведено в нашем глухом хуторе...

В этот миг я видел свою мать живой в последний раз. Утром уехал в Каменск – ждали дела, сильно болела Людмила, надо было управляться с детьми...

Обратно приехал через неделю, на похороны. Я шёл за гробом и вспоминал свой рассказ «Брат», где есть эпизод, когда сын и мать едут на кладбище на мотоцикле на могилу её брата. Эту дорогу в Стегаловку и представлял я, когда писал рассказ.

И вот теперь умершую шестидесятилетнюю сестру мы везли к давно погибшему восемнадцатилетнему брату, везли к их матери, моей бабушке Даше, так же похороненной неизвестно где на Стегаловском кладбище. Почему могилы дорогих и близких людей стали неизвестными? Не могу толком добиться ответа на этот вопрос у своего дяди Васи. К моей матери такой вопрос уже не адресуешь...

На кладбище возле только что вырытой могилы стояли наши соседи – Сашка Мишин и Ванька Вдовченков, оба с помятыми испитыми лицами. Им ещё не налили, и они непривычно трез-

вые, взъерошенные с лопатами в руках ожидали окончания церемонии.

Потом, когда все пошли к автобусу, я ещё долго стоял возле свежего холмика, укрытого цветами и венками, под которыми покоилась теперь моя мать...

Возле могил становилось всё тише. Лишь соловей вдруг подал голос, запел протяжно, переливисто. И пришла мысль: чем безмолвней на кладбище, тем зеленее трава, тем громче песня соловья. Всё кончается, не умирают только музыка и природа...

* * *

Я был последним первым заместителем главного редактора «Молота», который утверждался в Ростовском обкоме партии. Да и то – не на бюро, а по итогам беседы со вторым секретарём Л. А. Иванченко.

Было не до формальностей. В Москве дело шло к развалу партии. Горбачев уже не знал, что делать. Первые секретари парткомов переметнулись из своих насиженных кресел в кресла председателей исполкомов – после 19 Всесоюзной партконференции, по сути дела, перестал действовать шестой пункт Конституции СССР о главенстве КПСС. Так что на должности первых секретарей райкомов, горкомов и обкомов пришли люди второго, а то и третьего, четвёртого эшелона. Вскоре М. С. Горбачёв, избранный всего лишь съездом депутатов, стал президентом СССР. Первым и последним.

Хорошо помню утро 19 августа 1991 года. Придя в свой кабинет на пятом этаже в новом здании редакции на улице Доватора, по радио услышал сообщение о создании ГКЧП. Вскоре по факсу приняли документы о «болезни» Горбачёва, обращение Янаева и компании к народу.

В это время мне позвонил приятель из обкома партии:

– Наконец-то прекратится вакханалия в стране, – сказал он с радостью, – слава Богу!

Главный редактор Г. В. Губанов также встретил событие с воодушевлением. На другой день, 20 августа, «Молот» вышел с ма-

териалами Государственного комитета по чрезвычайному положению.

Все мы, кто хотел настоящего порядка в стране, захлебнувшейся горбачёвскими пустыми речами, надеялись на лучшее. Но события, как известно, пошли по-другому сценарию – и смешному и трагическому одновременно. Теперь-то понятно, каким фарсом обернулись те три дня в августе девяносто первого.

Эх, ребята, все не так!

Всё не так, ребята...

Высоцкий уже одиннадцать лет лежал в могиле, а слова его оказались, к сожалению, пророческими. То, что натворили в те времена Горбачёв с Ельциным, смело можно назвать государственным преступлением. Теперь, по прошествии двух десятков лет, это понятно каждому. А тогда, после августа, когда застрелился министр внутренних дел Б. Пуго, а члены ГКЧП были арестованы ельцинистами, в стране начались серьёзные разборки на тему: «Что ты делал в ночь с 19 на 20 августа?»

Не миновала чаша сия и нас, партийных газетчиков. Помню, как 24 августа мы с Г. В. Губановым были срочно приглашены к заместителю прокурора области В. С. Калюкину. Минут сорок прождали приёма, слоняясь по Большой Садовой (тогда ещё – Энгельса): в связи с делом ГКЧП Виталий Сергеевич был загружен, как говорится, под самую завязку.

Когда мы зашли, смущенно улыбаясь (мы были с ним давно знакомы и даже приятельствовали) спросил о том, как и почему в «Молоте» были опубликованы материалы ГКЧП?

Отвечать было просто: пришла команда из Москвы – опубликовали. Но на душе было тревожно. В те дни многие «верные ленинцы» метались, стараясь угадать куда идти – вправо, влево. Против Ельцина, за Ельцина.

Трагедия состояла в том, что больше идти было не за кем. Горбачёв бездействовал, слушая болтовню «демократов» на съезде народных (ещё) депутатов РСФСР, о Зюганове тогда и слыхом не слыхивали, а Борис Николаевич, словно трактор шёл и шёл к единовластию, подминая судьбы тысяч и тысяч людей.

Как известно, все, к огромному сожалению, закончилось незаконным Беловежским соглашением трёх «богатырей» – Ельцина, Кравчука и Шушкевича, поставившем жирный крест на существовании одного из самых великих государств планеты!

Главный редактор «Молота», ощутив отсутствие средств из Москвы, не стал искать пути выживания коллектива, а начал этот коллектив ... сокращать. Быстро и безжалостно, по большевистки. Первыми пострадали собкоры. Г. В. Губанов поступил особенно цинично, заставив вести заседание редколлегии по сокращению собкоров своего первого заместителя, меня, их вчерашнего собрата.

С огромным трудом мне удалось сохранить в штате сальского собкора, молодого и талантливого Сергея Юрова. Он и до сих пор числится в той же должности. Числится, потому что сегодня «Молот» уже совсем не тот... Если когда-то его ежедневный тираж составлял около 300 тысяч экземпляров и выходил он пять раз в неделю, то ныне – чуть более 10 тысяч с трёхразовым выходом.

Почему так произошло? Главная причина, считаю, в позиции Г.В. Губанова, не сумевшего, а может быть, не захотевшего сориентироваться в сложной ситуации, дрогнувшего перед нахлынувшими рыночными временами.

Сквозь пальцы смотрели на судьбу «Молота» и областные начальники.

Как-то в один из этих тревожных для главной областной газеты дней, ко мне в коридоре большого здания на улице Доватора подошёл директор издательства «Молот» Алексей Павлович Прибытко. Поговорили о грустных делах, погоревали. Алексею Павловичу газета была не чужой – много лет работали вместе, у нас даже бухгалтерия была одна. Прибытко, человек расчётливый, оборотистый, быстро переналадил издательский механизм на коммерческий лад. Начал работать с прибылью. Мне он сказал:

— Газету можно спасти, если в учредители ввести наше издательство. Но с Г. В. Губановым я иметь дело не хочу. Вот если ты станешь главным редактором, милости прошу – всё обговорим,

подсчитаем и, я уверен, вырвемся из тех обстоятельств, в которые нас кинуло родное государство...

Я поблагодарил за доброе ко мне отношение и... развёл руками – откуда мне знать, как судьба сложится...

Ответ на этот вопрос долго ждать не пришлось. Г. В. Губанов продолжал делать всё, чтобы убрать из редакции побольше людей. При этом внимание на профессиональный уровень журналистов не обращал. Дошла очередь и до меня. По инициативе главного редактора меня перевели в аппарат Ростовского областного Совета народных депутатов. Передвинули, так сказать, по горизонтали.

Когда только начиналось это передвижение, я чуть ли не на коленях просил Губанова:

— Георгий Васильевич, оставьте меня в редакции. Пусть Анатолий Попов, в котором вы души не чааете, работает первым замом. Верните меня в отдел сельского хозяйства. Могу быть простым обозревателем...

Но виртуальная машина в голове Г. В. Губанова уже неслась на всех парах. И он, конечно, поступил бы со мной ещё жестче (я мешал ему «ковать» своё счастье в стенах редакции, в частности, выпускать личную газету «Скиф»), но ещё сильна была роль номенклатуры, в которую я входил. Остроумный Георгий Васильевич решил задушить меня в своих объятиях:

— Да, ты более других достоин не то что работать в «Молоте», а возглавлять его, — сказал он.

В голосе прозвучали искренние нотки, и я с надеждой поднял голову. И тут же услышал откровенную фальш:

— Толя, ты не волнуйся, потолкаешься, как говорится, в коридорах власти, наберёшься опыта и через некоторое время заменишь меня...

Так в начале 1992 года я ушёл из «Молота», которому был обязан очень многим.

В аппарате облсовета, создававшемся заново после развала СССР, меня назначили руководителем отдела информации и связи с общественными организациями, а по сути – главой пресс-службы представительного органа власти. В моём подчинении –

вчерашний секретарь Ростовского горкома партии Наталья Ромашова и бывший помощник председателя облисполкома, одно время работавший в «Молоте», мой приятель Сергей Иваненко. Они оказались не только хорошо подготовленными для аппаратной работы специалистами, но и порядочными, надёжными людьми. А с такими подчинёнными я всегда срабатывался. Сработался я и с другими сотрудниками отдела – Александром Яковлевым и Сергеем Безгиным.

Говорят, что Бог не делает, всё к лучшему. Работа в донском парламенте дала мне многое. Прежде всего – возможность жить в условиях ельцинских «реформ». В то время, когда немало хороших ростовских журналистов оказались практически без работы и средств для существования, я на государственной службе не бедствовал. Более того, знакомство с состоятельными людьми, позволило мне иметь дополнительный заработок. Мною было подготовлено немало материалов для выборов компаний. Кроме того, в те годы я отредактировал несколько книг начинающим литераторам. (Одному из поэтов практически всю рукопись пришлось переписать заново). Конечно, работал в свободное от основных обязанностей время не за спасибо. В 1998 году я даже смог на совокупный гонорар купить небольшую квартиру в старом доме на улице Московской, возле Центрального рынка.

За время работы в облсовете, а потом в Законодательном собрании я познакомился с целым рядом российских политиков, по разным причинам (в основном – из-за выборов) приезжавшим в Ростов. Многие из них – явные противники Б. Н. Ельцина. Где их принимать? Конечно, в региональном парламенте. Спикер А. В. Попов бросил «на съедение» московским гостям меня. За это я был ему благодарен: удалось познакомиться со многими интересами людьми.

В конце сентября 1993 года несколько патриотически настроенных руководителей ростовских хозяйств пригласили меня на очередной съезд Крестьянского союза России, который возглавлял бывший член ГКЧП В. А. Стародубцев.

От меня требовалось одно – достоверно рассказать обо всём, что произойдёт на съезде, в ростовской печати. Председатель

облсовета А. В. Попов почему-то легко отпустил меня в Москву. Наверное потому, что командировочные расходы на себя взяли председатели колхозов.

К этому времени уже вышел пресловутый Указ Б. Н. Ельцина № 1400 о роспуске Верховного Совета РСФСР. Началось острое политическое противостояние команды Президента и команды Хасбулатова – Руцкого. Конечно, все вопросы, которые обсуждались на съезде Крестьянского союза, вольно и невольно увязывались с темой кризиса.

Форум аграриев проходил в Колонном зале Дома Союзов. Довелось там увидеть и услышать замечательного артиста, композитора и поэта Михаила Ножкина.

За несколько часов до начала съезда меня, принял в своём кабинете В. А. Стародубцев. Говорили мы с ним не только о проблемах села. На вопрос: «Что на ваш взгляд происходит в стране?» Василий Александрович, не задумываясь, ответил:

— Готовится государственный переворот и смена социально-экономического уклада.

— Что, новая революция на дворе? – спросил я.

— Вот именно, – Стародубцев встал из-за скромного стола, подошёл к высокому окну и кивнул в сторону здания Верховного Совета:

— Скоро все в этом убедятся...

Это было 27 или 28 сентября, когда Белый дом опоясали проволокой Бруно, и по всему периметру стояла милиция, никого не пропускающая и не выпускающая... Считанные дни оставались до расстрела российского парламента грачевскими танками.

Но мы и предположить не могли, что до этого дойдёт. Поэтому старались содержательно использовать время командировки в столицу. Знакомый милицейский генерал родом из Ростова-на-Дону организовал нам ознакомительную поездку в Сергиев Посад.

Там мы осмотрели Троицко-Сергиевскую лавру. Побывали даже в церковном музее, хотя официально он в тот день был закрыт. Осматривая оклад Рублевской «Троицы», я и представить не мог, что через несколько лет опять побываю здесь, а в мона-

шеской келье буду пить коньяк с отцом Саввой – в миру Владимиром Вишневым, тестем моего брата Николая.

К вечеру мы вернулись в Москву. С директором совхоза из Дубовского района Николаем Морковским пошли посмотреть на окружённый Белый дом. Увидели, как начался митинг оппозиции. На трибуну вышли уже хорошо известные по бесконечным телерепортажам люди. Я узнал Илью Константинова, кричавшего возмущённые слова в адрес Ельцина.

Начали разгонять толпу. Я снимал всё это своим стареньким «Киевом». Вдруг Морковской крикнул:

— Уходим, иначе попадём в переплёт!

И он был прав. Прямо на меня (видимо, внимание привлёк фотоаппарат) шёл рослый омоновец, поигрывая резиновой дубинкой. По выражению его лица было понятно: этот ни перед чем не остановится. Я оглянулся. Убежать, не соприкасаясь с омоновцем, было невозможно: вокруг напирала толпа, в основном – женщины. Ещё пять – десять секунд и я получил бы «демократизатором» по голове. Но выручил Николай.

— Попробуй, тронь, – Морковский, прекрасный спортсмен, много лет занимавшийся боксом, принял боевую стойку и заслонил меня своей фигурой. Омоновец оторопел от такого поведения моего приятеля и замедлил шаг. Этого нам хватило, чтобы уйти вниз по улице, смешаться с толпой.

На другой день 29 сентября мы, ростовчане, уехали домой. Так что развязку событий у Белого дома я, как и миллионы людей планеты, наблюдал по телевизору. Было больно и страшно смотреть, как бухают танковые орудия на Горбатом мосту, как бушует огонь в проёмах окон парламента, а чёрные дымовые полосы вертикально чернят белое здание в самом центре, где, видимо, располагалось большинство депутатских кабинетов...

Всё это – под захлёбывающийся комментарий иностранных корреспондентов показывали в прямом эфире. Позор на весь мир!

Именно тогда, на мой взгляд, для организованной преступности России была окончательно стёрта грань между «нельзя»

и «можно»... Пример по уничтожению людей был дан яркий, убедительный!

* * *

... Чаще всего меня заставляет писать память о прошлом, о тех людях, которые тронули сердце, заставили всерьёз задуматься о жизни.

В последние годы часто вспоминаю Анатолия Ансимова, подтолкнувшего меня к вступлению в Союз писателей России. Он прошёл большую школу жизни. Работал в ростовских газетах «Комсомолец», «Вечерний Ростов», «Молот». Создал и редактировал литературно-художественные приложения к «Молоту» «Донское слово».

Я всегда, даже когда был большим газетным начальником, с особым тактом относился к этому человеку. Впервые мы близко узнали друг друга во время его командировки в Каменск в феврале 1985 года.

Работал Анатолий Дмитриевич виртуозно. И не поймёшь, зачем он задаёт собеседнику тот или иной вопрос. Сделает какие-то быстрые пометки в блокноте и вновь – разговор как бы ни о чём. (Практически все опубликованные материалы Ансимова отмечались как лучшие).

После рабочего дня мы зашли в его номер гостиницы «Донец». Пили водку, закусывали чем Бог послал, играли в шахматы. Ансимов играл блестяще, где-то на уровне кандидата в мастера спорта, так что за весь вечер я выиграл у него две или три партии, а «продул» десятка два...

В редакции «Молота» часть коллектива его боготворила, часть – ненавидела. При этом Ансимов всегда находился в оппозиции к руководству газеты. Не могу одной фразой ответить на вопрос: почему я любил этого человека. Наверное, за мужской характер, прямоту, смелость и, конечно, талант. Долгое время у него не ладилось с изданием поэтических сборников. Только перешагнув пятидесятилетний рубеж, Анатолий смог издать первую книгу «День приезда» (1986 г.).

Он был хороший поэт, до самого развала страны в 1991 году оставался ведущим журналистом «Молота». Тогда, во время ка-

менской командировки, у него ещё не было книг, и он, достав из портфеля листок, с отпечатанным на машинке стихотворением, сверху надписал: «Тезке – на удачу! Автор.». И протянул мне в качестве подарка.

*Уже не та и выправка, и сила...
А впрочем, как бы я сберечь их смог,
когда меня судьба приговорила
к скитаньям по волнам степных дорог.
Пусть самолёт уносит в даль кого-то,
а кто-то лихо водит «жигули»,
корреспондент – газетная пехота
пешком дойдёт хотя б на край земли.
Конечно, как у всякого солдата,
на сапогах моих седая пыль.
Зато я знал, как пьяно пахнет мята,
зато я видел, как растёт ковыль.
Я не хвалюсь своей газетной долей.
Но вы не удивляйтесь, если вдруг
я покажу вам душу, где мозоли –
родня мозолям ваших крепких рук.*

В ноябре 1990 года на обложке только что вышедшего сборника «Славянский шлем» он написал мне «... с пожеланием более частых улыбок Госпожи Удачи. Твой А. Ансимов».

Приближалось время развала страны, и поэт чувствовал это. В стихах отчётливо звучала его гражданская позиция протеста.

Анатолий Дмитриевич Ансимов скончался 10 июня 2002 года 67 лет от роду. Умер на родине Виталия Закруткина в Семикаракорском районе, куда ездил выступать со своими стихами перед жителями станицы Кочетовской. Прямо на сцене сельского Дома культуры ему стало плохо...

На похороны я успел. В тенистом саду на одной из улиц Нахаловки стоял гроб, в котором лежал удивительно маленький, словно ребёнок, Ансимов. Чуть в отдалении какую-то беседу с писателями проводил Владимир Фролов. У гроба одиноко маячил молотовец Анатолий Попов. Тихим невнятным голосом он

что-то бубнил себе под нос, глядя на усопшего. Потом отошёл и стал в сторонке. Больше никого из журналистов не было.

— Толя, скажи что-нибудь, а то сейчас выносить будем,— сказала мне молодая вдова Ансимова Татьяна, бывшая секретарша главного редактора «Молота».

Я было шагнул вперёд, открыл рот и... ничего не смог произнести. Не давал комок у горла. Лишь слёзы ползли и ползли по щекам. До сих пор тоскует сердце по хорошему (хотелось написать «настоящему») человеку и блестящему поэту Анатолию Дмитриевичу Анисимову.

Тоскует оно и по другим людям, ушедшим непростительно рано, которых я знал и любил. Прежде всего – это Юрий Дюкарев и Анатолий Мерлев – мои коллеги по тербунской газете «Маяк».

Кто ещё повлиял на меня, заставил задуматься?

В Ростове-на-Дону у меня было несколько встреч с известными на всю страну людьми. О некоторых я никогда не забуду.

Как-то два вечера подряд ко мне в кабинет заведующего отделом Законодательного собрания Ростовской области заходил бывший первый секретарь обкома партии, 18 лет стоявший у руля Дона, Иван Афанасьевич Бондаренко.

— Вот иду по коридору, вижу на двери знакомую фамилию – решил зайти,— сказал он мне в первый вечер.

— Лично, к сожалению, мы с вами не были знакомы,— напомнил я.

— Лично нет, а фамилию вашу хорошо запомнил. Не раз читал ваши статьи в «Молоте». По некоторым из них мы даже бюро обкома проводили...

Было приятно, что столь уважаемый человек уделил мне внимание. Правда, было это в 1997 году, когда Бондаренко уже 13 лет как не возглавлял область, хотя и губернатор, и спикер донского парламента его привечали, нередко сажали в различные президиумы, приглашали на всякие торжественные мероприятия. И ничего удивительного в этом не было, Бондаренко – это живая легенда Дона!

Помню, в первый же вечер я спросил Ивана Афанасьевича:

— Как же вас Горбачев в 1978 году опередил? Ведь именно вы должны были стать секретарём ЦК по селу...

— Не знаю,— собеседник вздохнул, и я понял, откровенничать он не особенно хочет, потом сказал: — До конца не знаю. Уже поздравляли, да, оказалось, рано. Сначала-то у меня ВЧ от звонков до красна накалялся, а через неделю примерно — будто отрезали связь. Гробовая тишина. Дело в том, что в Кремле изменили мнение. Обошёл меня ставропольский «комбайнёр». Сыграли роль и курорты Кавминвод, и молодой задорный блеск в глазах Горбачёва и, конечно, его услужливость по отношению к кремлёвским старцам... Мы-то с Медуновым (первый секретарь Краснодарского крайкома партии — А.Р.) его всегда за пацана считали. Не верили в его выдвижение — уж слишком ярко на его лице была нарисована комсомольская фальшивая улыбка. А вон оно как вышло...

Известно, что уйдя в Москву, Горбачев весьма активно способствовал увольнению И. А. Бондаренко с поста первого секретаря Ростовского обкома КПСС. И в 1984 году 58-летний, полный сил Иван Афанасьевич внезапно стал пенсионером...

Я смотрел на красивого, всё ещё импозантного человека, которого на Дону многие искренне уважали, и думал: а что было бы, приди в 1978 году в ЦК не Горбачев, а он, Иван Афанасьевич?

Случись так и, может быть, история СССР была бы совершенно иной. Без августа 1991 года и Беловежской пуши, без расстрела российскими танками российского парламента, а главное — не было бы в таких масштабах разворовывания национальных богатств и массового обнищания народа.

Довелось тесно общаться и с ещё одним знаменитым ростовчанином — Юрием Андреевичем Ждановым, бывшим ректором РГУ, членом-корреспондентом РАН, зятем И. В. Сталина.

Часа три беседовали мы с ним в одной из комнат областного правления Союза журналистов России, которое тогда, в марте 1998 года, располагалось на Большой Садовой, напротив здания мэрии. Закончилось какое-то совещание, люди разошлись, а мы с ним сидели в пустом слабо освещённом кабинете на продавленном кожаном диване. Я в основном задавал вопросы, он отвечал. Может быть я не решился бы на такую форму общения со знаменитым человеком, но отвечал на вопросы он просто, без

рисовки и, как бы, с охотой, по-приятельски. Хотелось спросить его и о том, и об этом...

Коснулись личности Сталина. На вопрос: «Как вы к нему относитесь?» получил короткий ответ: «Положительно». И объяснил, почему: Сталин был государственным до мозга костей. При нём страна добилась грандиозных успехов, прирастала окраинами. Он был чужд личной наживе, что не скажешь о последующих руководителях страны.

Говорили мы и о многом другом. Удивило, что Юрий Андреевич не только отвечает, но и спрашивает. Его интересовала современная структура представительной власти в регионе (я тогда работал в парламенте Дона), спросил про литературные планы – оказывается Юрий Андреевич читал мои рассказы в коллективных сборниках, а статьи – в «Молоте» и «Сельской жизни».

Высказал Жданов и свои взгляды на современную Россию, руководство которой (напомню, разговор шел в начале 1998 года) у него вызывало большую тревогу. Говорили о плачевном состоянии здравоохранения, образования, литературы, телевидения. По всем этим темам мы были единомышленниками.

Что-то говорил он и о своей бывшей жене, дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Что конкретно – не вспомню, но то, что говорил без зла – точно...

Интеллигентный был человек. Вот уже скоро семь лет, как нет его. Недавно на улице Пушкинской ему поставили памятник. Стоит он невысоко, почти на уровне человеческого роста. Скульптор, видимо, учёл, что Юрий Андреевич Жданов, несмотря на свою звёздную судьбу, был очень близок к народу...

А вот ещё один яркий человек. Бывший генеральный директор «Ростсельмаша», Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков.

Как-то по журналистским делам (уже работая на «Роствертоле») удалось побывать у него на даче в посёлке Маргаритово Азовского района. Пескова не раз видел в советские времена на различных совещаниях, а познакомиться пришлось только теперь, в марте 2003 года, когда он уже не первый год был на пенсии.

После недолгого застолья мы с ним и ещё одним товарищем вышли во двор дачи проветриться, и он, до того оживлённый, вдруг опёрся о тополиный ствол большой сильной рукой и замолчал. Он смотрел на лазоревую полоску Таганрогского залива. По воде, гонимые не сильным, но ещё зимним ветром, бежали темно-синие строчки барашковых волн.

Море ещё помнило зиму, хотя снега не было, еще на февральскую была похожа вечерняя заря, но уже чувствовалось дыхание весны.

Мне показалось, что именно это дыхание, это предчувствие обновления природы и взволновало Пескова. Он смотрел вдаль и, забыв о нас, о чём-то думал сосредоточенно, тяжело и тревожно.

Что ему вспомнилось? Что мелькнуло в памяти? Он был одет по-деревенски – в тёмную фуфайку-бушлат, обут в высокие сапоги, на голове – кроличья шапка. Дачник. Но даже в этой простой одежде он оставался статным, с особой мужской осанкой, за которой чувствовалась большая внутренняя сила.

Я на миг представил его на трибуне съезда партии, потом – выступающим на девятнадцатой Всесоюзной партконференции – те фотографии, размноженные центральными газетами, врезались в память. На одной из них за монументальной фигурой Пескова виднелась меченая лысина последнего генсека, снежно-серые головы членов политбюро брежневского призыва, вскоре навсегда сошедших с политической сцены, да и с жизненной сцены – тоже.

Я вспомнил известный, не раз показанный по телевизору диалог Юрия Александровича с говорливым Горбачевым, убедительный, почти властный голос ростовского директора в защиту отечественной промышленности. Песков приводил факты, убеждал, словно наотмашь бил по вертлявому лицу председательствующего.

Тогда мне всё же казалось, что Песков играет на публику, навбывает себе цену... Но теперь, познакомившись с ним, остро почувствовал: ничего он не играл. О чём болело сердце – то и говорил.

Вспомнился снимок из газеты, сделанный лет пять спустя. Песков и Ельцин. Оба огромного роста, крупные, седовласые, словно братья, глаза в глаза стоят на пшеничном поле. Директор что-то рассказывает, президент России слушает.

— О чём вы говорили? – спросил я его за полчаса до нашего выхода во двор.

— О судьбе «Ростсельмаша» – о чём же еще! – ответил хозяин дачи. – Хотел спасти завод от развала – вот и изгалялся перед ним...

Песков выругался: не получилось, не спас. Нет уже того знаменитого на весь мир комбайнового производства, которым он руководил много лет. Какое-то производство осталось, да и название «Ростсельмаш» сохранилось, а завода, которым гордилась страна, по сути дела, нет.

... С моря примчался резкий порыв ветра, под его напором зашелестел пожухлой листвой, оставшейся с осени, тополь. Шум этот словно разбудил хозяина.

— Плохо, очень плохо, – сказал Песков, поворачиваясь ко мне, – жена... умирает. И ничего подделась нельзя. Давай как-нибудь в другой раз закончим наше интервью...

Другого раза не случилось, но, наверное, это не так и плохо. Во всяком случае – для него, Пескова. Зачем трепать лишний раз его сердце, заставляя с тоской вспоминать славные времена, которые уже никогда не вернуться...

Эта тоска Юрия Александровича чувствовалась в его надписи, которую он сделал на титульном листе своей книги «Моя жизнь – «Ростсельмаш», подаренной мне: «Я всю жизнь отдал заводу, без отдачи. И не жалею об этом...»

Жалел он о другом. Много еще сил бродило в его большом теле, много умных мыслей волновало его. Но никому уже не нужно было ни то, ни другое...

Встречался я и со многими другими видными людьми. И со Станиславом Говорухиным, и с космонавтом гагаринского призыва Виктором Горбатко, и с молодым академиком Сергеем Глазьевым. Да и с некоторыми политиками, как говорится, пер-

вого ряда хорошо был знаком: Геннадием Зюгановым, Дмитрием Рогозиным, Александром Лебедем, Владимиром Жириновским...

Эти встречи убедили: о них надо писать, пока пишется. Ведь я – свидетель исторических событий и «дать показания» во имя истины, которая, уверен, потребуется в будущем, – моя святая обязанность.

* * *

... Зима. Новый год. На Старый новый год – моё рождение. До 14 января в гостиной как всегда будет стоять украшенная ёлка. Я скорее, всего не стал бы её приносить в дом, если бы, не присутствие внучки Ариши. Впрочем, новогоднюю ёлку она восприняла без особого восторга, как очередную игрушку, которых у неё навалом.

У меня в моём детстве была только одна игрушка – металлический грузовик, выкрашенный суриком, который отец привёз мне с Донбасса. А новогодней елки у нас в Красном никогда не было. В избах побогаче – были, а у нас – никогда. Наверное, поэтому иметь собственную новогоднюю ёлку было моей мечтой. Лет в двенадцать, уже когда мы жили в Томакино, я попытался достичь своей цели.

Елки тогда не продавали. В нашем лесу они не росли. Единственным, доступным мне местом, где пахло хвоей – была лесополоса, обрамляющая Быханов сад, мимо которого мы ходили в райцентровскую школу. Там росли высокие сосны. Дотянуться с земли до веток не мог даже взрослый человек, но я все же решил добыть себе новогоднее деревце именно здесь.

Как-то, вооружившись отцовской ножовкой, под вечер я пошёл в лесополосу. С огромным трудом влез на нижние ветки сосны. Руки и ноги тряслись и от напряжения, и от страха, что я... совершаю воровство. Несколько минут стоял без движения. Потом начал водить пилой по стволу ближайшей ветки. Было неудобно пилить, ноги мои скользили по суку, на котором я стоял, и вдруг в какой-то миг я понял: ничего не смогу сделать. Ножовка была тупая, сук вибрировал, всё было напрасно...

В это время увидел, как в мою сторону по стежке идёт какой-то человек. Я похолодел. В голову ударила мысль: сейчас прохо-

жий начнёт меня ругать за порчу дерева, а может быть и отведёт в милицию...

Я стремительно сполз с остро пахнущего хвоей ствола и упал в снег, больно ударившись коленом о пенёк. Мужчина прошёл рядом, не заметив меня...

Болела нога, кроме того, я порвал брюки, долго искал в снегу ножовку, а потом прижавшись грудью к сосне, посмотрел вверх, на тот сук, где я стоял. Было понятно, что вновь влезть туда у меня не хватит сил. И я заплакал. Мечте моей не суждено было сбыться, а я так хотел порадовать родителей и маленького братика...

Почему запомнился этот эпизод? Не знаю. Может быть потому, что именно тогда я впервые почувствовал дыхание вселенского одиночества... Но характерно, что испытав это, я не испытал чувства безысходности... Во мне маленьком, ещё слабым, жила вера. Я шёл по ночному снежному полю, уклоняясь от порывов морозного ветра, и верил: будет в моей жизни ещё много новогодних ёлок.

Мне нравится зима с её вьюгами и сугробами, морозами и ветрами. Зима заставляет ценить тепло очага, тепло человеческого сердца. В тиши зимы мне лучше всего думается о сущности бытия...

А ещё я люблю зиму за то, что после неё всегда приходит весна! А с нею – запахи первых лесных цветов, свежеспаханного чернозёма и почти физическое ощущение веры, надежды и любви.

Сейчас, в моём возрасте, эти запахи и это ощущение, к сожалению, с каждым годом становятся слабее и слабее. Поэтому, поразмыслив, я и назвал это документальное повествование «Вечерний монолог». А разве не так? Разве не живу я на закате солнца?

Конечно, хочется дожить до рассвета завтрашнего, послезавтрашнего и многих других дней. Хочется увидеть взрослыми моих любимых внуков, написать ещё несколько хороших книг, новыми воспоминаниями продолжить эту. Хочется...

2012 г.

Рассказы

Прощай, ива...

Поздно ночью в спящей тишине вдруг взорвался телефон. Василий вскочил на постели испуганно с колотящимся сердцем (им давно не звонили ночью) и, чертыхаясь, пошел в полутемную прихожую, шлепая по линолеуму босыми ногами. На стене, на привычном месте, он нащупал висящий аппарат, снял трубку и услышал знакомый голос брата. Голос его звучал четко и ясно, будто из-за соседней стены. Димка поздоровался. Как обычно, чуть шепелявя и растягивая слова.

– А, это ты, – зевнул в трубку Василий, – попозже не мог? Ты на часы глядел?

– Глядел. Не мог, – почему-то резко заговорил младший брат. – Вот только дали телефонистки ваш город – три часа ждать пришлось...

Горячность брата и время звонка насторожили Василия, и он, совершенно уже придя в себя после пробуждения, напрямик спросил:

– Что случилось, Дима?

Димка помолчал секунд десять, словно только теперь решая, говорить или не говорить, и сказал:

– Стучилось. Мама заболела.

– Ну и что? Не можете там с отцом в больницу что ли ее определить? Или лекарство какое нужно достать? Если так, говори – я записываю.

– С больницей как раз все в порядке, – вздохнул в трубку за тысячу километров от Василия голос брата, – мать оттуда вчера выписалась. А лекарства ей теперь бесплатно дают...

И вдруг Василия будто ударило электротоком. Ток пробежал по всему телу и сосредоточился где-то сзади, на затылке, и чуть выше, на макушке. В детстве в это место, маковку, мать целовала его, когда он с ногами залезал к ней на колени, мешая вязать зимние носки.

– Что, рак обнаружили? – затаив дыхание, спросил Василий.

– Да. И причем в прогрессирующей форме. Так что лучше всего приезжай послезавтра, на Покрова, чтоб поздно не было. Врачи дают не более трех месяцев, а до твоего очередного отпуска – месяцев восемь.

– Да-да, а как мать-то реагирует?

– Она, конечно, ничего пока не знает, да и отцу я ничего не сказал: знаешь, как он может все усугубить. Так что ты приурочь приезд к празднику, да и день рожденья у нее недавно был, поздравить, так сказать, очно. Не забыл еще? – усмехнулся Димка.

– Забыть не забыл, но телеграмму не дал, закрутился с этой бешеной работой, черт бы ее побрал! Ну что ж, спасибо тебе, брат, за звонок. В субботу приеду. Встречать не надо.

Но Димка его все же встретил. От маленького кирпичного с поблекшей шиферной крышей районного железнодорожного вокзала они пошли на автостанцию, расположенную в сотне метров, долго под косым осенним, к счастью, несильным дождем ожидали автобус, а потом около часа тряслись в скрипучем салоне с потрескавшимися, а кое-где изрядно порезанными поролоновыми спинками кресел.

Пока ехали, Димка рассказывал о домашних делах: и с поросенком в этом году неплохо вышло, и куры – что надо, и гусей отец завел. Василий понял, что брат специально не говорит о главном, ради чего он приехал, старается не омрачать и так тяжелое настроение.

Василий слушал Димку, а думал о матери, об отце, о том, что будет, когда ее не станет. За последние десять лет он видел своих родителей раз в год, дня на три–четыре приезжая с семьей во время отпуска из большого южного города. Теперь, перед лицом огромной беды, он вдруг понял, как важны были и ожидание отпуска, и эти три–четыре дня, которые он проводил в родитель-

ском доме. Сюда, к ним, он подсознательно стремился весь текущий год его бурной, подчас бестолковой жизни. Трясаясь теперь в старом сельском автобусе, он вдруг подумал: а может быть, и жил он все это время ради редких встреч с матерью и отцом...

Последние годы мать сильно хворала по причине своей нервной болезни, плохо двигалась, но сохранила ясность ума, присущий ей с молодости юмор. Прожившая всю свою жизнь сиротой – отец погиб на фронте, а мать, бабушка Соня, умерла вскоре после войны, – мать хорошо знала цену человеческой доброты. Тогда ей, девчонке, оставшейся старшей среди пятерых братьев и сестер, помогли односельчане, и всю свою последующую жизнь она старалась сама помочь кому-нибудь. Поначалу к ней, уже семейной, люди шли постоянно. За щепотью соли, пучком лука, просто посудачить. Шли до тех пор, пока однажды отец, подвыпив, не вытолкал взащей двух соседей.

Ходить к ним перестали, и для матери как бы погас солнечный свет. Она замкнулась в себе, скрывая обиду на отца, а может, на свою неудавшуюся жизнь. Иногда Васек, которому уже было тогда лет пять, видел, как втайне от людского глаза мать беззвучно плакала, низко склонившись над вязанием или вышивкой...

В более поздние годы тревога улеглась, мать стала оживленнее, но едва заметная грусть навсегда поселилась в ее сердце. Лишь когда приезжал Василий с Анной и детьми, она светлела лицом, шутила, смеялась, как бы молодела.

Но года два назад со вздохом призналась:

– Ох, трудно мне, сынок, стало с отцом. Выпивает, ругается без дела, упрекает, что я ему жизнь испортила...

Да, он, Василий, родившийся еще до ухода отца в армию, помнил, как отец, демобилизовавшись, вместо родного райцентра Синеоково рванул на Донбасс к деду Сереге. Видимо, всерьез примерялся остаться в городе, бросить их с матерью. Но мать, колхозная доярка, полуграмотная женщина, проявила себя в тот раз по-бойцовски. Поехала в Горловку и через неделю вернулась в деревню вместе с отцом, еще не успевшим сменить солдатскую форму.

Они приехали в деревню на попутном тракторе с прицепом мокрым мартовским утром, вошли в их саманную хатенку – молодые, радостные, казалось бы, никогда не конфликтовавшие люди.

Отец поднял Василька на руки и прижал к гладко выбритой, пахнувшей ветром щеке. А потом открыл коричневый с блестящими металлическими уголками чемодан и достал оттуда подарок. Подарком был довольно большой металлический грузовик, выкрашенный суриком. В жизни Василия это была единственная игрушка, купленная в магазине.

Вечером мать с отцом сидели за столом и пили подкрашенный вишневым вареньем самогон, пели песни и смотрели на сына, который на широкой русской печке возился со своим грузовиком.

Василий теперь уже не помнил, о чем они говорили. Отец обнимал мать худыми смуглыми руками, она плакала, а затем и он, склонив смоляную голову к ней на плечо, тоже зарыдал, пугая сына, все время ожидавшего, когда же отец вынет из кармана и отдаст ему погоны. Потом оказалось, что погоны отец оставил в Горловке, подарив их деду Сереге в качестве прокладок в футляр для очков. Васек года два потом обижался на отца за это. Ведь в письмах обещал привезти.

...Родительский дом встретил их молчанием. Лишь в закутке хрюкал поросенок да петух проводил разборки в курятнике. Мать с отцом были на огороде. Сыновья, вошедшие во двор, видели, как на дальнем участке огорода старики убирали кочаны поздней капусты. Открыв калитку, Димка пошел по утоптанной, поросшей кое-где высохшей повиликой стежке к родителям, а Василий остался ожидать возле крыльца. Он оглядывал двор, вдыхал знакомые с детства запахи, вслушивался в благословенный гомон деревни. На душе было покойно, и где-то в глубине души шевельнулась было радость встречи с детством, но она тут же погасла, когда он вспомнил причину приезда в родительский дом.

Возле забора ровной стеной стояли березы и две ели, посаженные руками Василия и Димки. За прошедшие годы березы раскудрявились, а ели построились, вытянулись. Уюта и света от

них стало больше. Портила вид только старая располневшая ива, занавесившая часть окон дома. Когда-то, еще при строительстве, отец вбил заборный кол. Но к весне этот кол расцвел, закустился и вскоре вместо него на ветру качался молодой ивовый куст. Теперь куст превратился в темно-зеленый потрескавшийся от времени кривой мощный ствол...

Засиделись допоздна. Им как всегда было хорошо – всем вместе. Говорили о многом и – ни о чем. Мать улыбалась, глядя на Василия, и изредка вытирала пот на крупном лбу малоподвижной левой рукой, а в правой у нее была старомодная граненая рюмка; она тянулась ею чокаться с гостем, с Димкой и отцом.

– А хорошо, сыночек, что ты взял и приехал, – перебила мать отца, начавшего было рассказывать о том, как возил продавать картофель в Тулу, – мы ведь давно уже не виделись осенью. Много лет не виделись. Жалко, что приехал без Анечки и детей, да я понимаю: у нее работа, у них – школа.

– А что, – не смутился Василий, – сколько можно в жару домой приезжать! Люблю осень в наших краях.

– Да нет, она ноне дождливая, – вздохнула мать, – вон как на огороде развезло – ноги не вытянуть из грязи.

– Зато в лесу – ох какой воздух, верно? – бодрясь, обернулся к отцу Василий. – Давайте завтра по грибы ходим? Мам, ты не против?

– Да нет, сынок. Делов дома дюже много, да и уставать я стала что-то уж сильно последнее время. И таблетки, те, что ты прислал, плохо помогают. Вы ходите с отцом и Димой, а уж мне – куда...

Возникла пауза. Димка молча тыкал вилкой в порезанные колесиками соленые огурцы, а отец, которого прежде не стали слушать, обиженно пыхтел дешевой папирасой.

– А ты, сынок, стишки-то новые какие написал? – вдруг спросила мать.

– Написал, – сказал Василий, – сейчас второй сборник к печати готовлю.

– Вот и почитай нам что-нибудь, – не унималась мать.

Она сказала это обычным своим негромким голосом, но почувствовалась в нем какая-то настойчивость. И сын, не любивший за столом касаться своего творчества, начал:

Пахнет давним и добрым ветер.

Отзвук детства.

Мерцанье свечей.

Чей-то мальчик на велосипеде.

Вдоль по улице едет ничьей.

Это я. За краешком леса

Молодая дрожит луна.

И соседская Валька-принцесса

Все стоит у окна. Одна...

– Нашу деревню изобразил, – ласково засмеялась мать, – и Вальюшку Евстратову не забыл. А знаешь, она с мужем-то разошлась. Пил напропалую и бил ее сильно. А ведь вы с ней, Вася, дружили. Красиво дружили, любовались вами все. Вот сошелся бы с ней тогда, в молодости, глядишь и жили бы сейчас по соседству с нами, а, сынок?

– Будя, будя глупости-то говорить, – нетрезво заартачился отец. – Валька – она никчемная сызмальства была, благо что лицом да статью вышла. Ваське нашему разве она пара? Говорят, ноне уборщицей на каком-то заводе в областном центре работает. А ты – «сошлись бы». Глупость какая!

Отец пьяно икнул и полез чокаться со старшим сыном.

Василий долго боялся встретиться глазами с матерью. Близкие слезы, разбавленные водкой, предательски нависали в его глазах, и он переводил разговор с одной темы на другую. Может, потому и не прервал монолог отца, когда он в который уже раз на веку начал рассуждать о своей несчастливой жизни.

– Тридцатый год на ферме вкальваю, – ворчал отец, – а кто виноват? А вот она, – ширял он своим коротким темноватым пальцем с прокуренным ногтем в сторону матери, – не дала мне на Донбассе гнездо свить. Я уж в забое не последним числился, квартиру обещали. Забрал бы вас, да и жили бы сейчас в городе. Эх!

– Будет тебе, – обиженно отозвалась мать, – Во-первых, неизвестно, кто бы жил в том гнезде, а потом: чем ты недоволен? Глянь, какие сыновья у нас! Да и живем не хуже других...

– А знаешь, мам, – вмешался, чтобы прекратить ненужный застарелый спор между родителями, Василий, – давайте выпьем за твой день рождения, он ведь недавно совсем был. И пока Димка разливал водку по рюмкам, Василий сказал:

– А ведь родилась ты в аккурат в один день с Сергеем Есениным.

– Вот не знала, голова моя садовая, – всплеснула полными руками мать, – сколько прожила, а не знала, – неужели правда?

– Деревня! – махнул рукой изрядно захмелевший отец, буд-то сам хорошо знал про Есенина раньше...

– Мам, а хочешь, я его стихи прочту – вместо тоста? – спросил Василий.

– Свои читай, – пьяно, почти фальцетом выкрикнул отец и вновь долил свой стакан, – не нужно нам чужих стихов!

– Прочти, сынок, прочти, – спокойно, но твердо сказала обычно послушная отцу мать.

Прежде Василий никогда не читал стихов родителям, – ни своих, ни чужих, а тут в один вечер ему пришлось делать и то, и другое. Боясь выпустить из памяти хоть строчку, начал:

Низкий дом с голубыми ставнями,

Не забыть мне тебя никогда, –

Слишком были такими недавними

Отзвучавшие в сумрак года...

Мать слушала, отвернувшись от всех. Она смотрела в темное, косо занавешенное ситцевой шторой узкое окно, в котором чернело небо, усыпанное крупными осенними звездами, и плечи ее задрожали – мать плакала.

И вдруг Василий до боли и страха отчетливо понял, что она знает, почему внезапно приехал старший сын, и вообще все знает про себя. Но о чем-то она подумала впервые, подумала по-другому, как никогда не думала раньше. «Милая моя мама, как мне жаль тебя, как будет страшно жить без тебя», – внутренне за-

стонал Василий, и слезы поползли у него из глаз. Как он ни крепился, сбился и замолчал.

– Да, сильные стихи писал Есенин, – выручая брата, сказал Димка.

Через сутки, рано утром, Василия провожали на станцию. Уже выходя из дома с черным портфелем в одной руке и каракулевой кепкой в другой, Василий вдруг обернулся и посмотрел на дом.

Дом по-прежнему стоял в обрамлении деревьев, одетых в темноватую желтизну осеннего убранства. Лишь разлапистая ива все еще зеленела, несмотря на ранние морозы, и тень от ее низко опущенных, закругленных ветвей, словно тело большой и хищной птицы, закрывала часть дома.

Мать, вышедшая на порог, проследила за взглядом старшего сына и вдруг сказала:

– Сынки, а вы не смогли бы срубить старую иву? А то лежу в комнате, а из-за нее, заразы, все темь и темь в окне, будто и дня нет.

– Во номер, – хохотнул отец, – кому это нужно? Не обращайтесь внимание, ребята, на эту глупость. Росла ива тридцать лет, ну и пусть растет хоть еще столько же...

– А вот и не глупость, – вдруг сказал всегда молчаливый Димка. – Я сейчас.

Он исчез в сарае и вскоре появился с двухрожковой пилой под мышкой. Подмигнул брату:

– Айда!

Василий положил на старую, потрескавшуюся от дождей, неизвестно когда крашенную скамейку портфель и кепку и, поплевав в правую ладонь, взялся за ручку пилы.

Отец недовольно буркнул что-то себе под нос, повернулся и ушел в избу.

Через полчаса тщательно подпиленный ствол ивы, похожий на крупного подстреленного зверя, медленно, словно нехотя, отошел от стены и, поддерживаемый братьями, рухнул у забора, подмяв под себя пожухлую траву.

– И вправду лучше стало, – засмеялась мать, открыв створки еще не заклеенных на зиму окон. – Вон сколько солнца хлынуло в комнату! Спасибо вам, сыночки. Вот уж уважили!

– Нашла за что благодарить, – вдруг заскрипел сзади зубами изрядно подвыпивший отец, – лучше бы остался Васька на день-другой да подвал подправили под зиму...

Но мать как бы не слышала его. Она стояла в проеме окна, раскрытого настежь, и осторожные лучи яркого, но несильного уже солнца падали на ее выбившиеся из-под серого платка светлые, чуть рыжеватые с почти невидимой сединой волосы.

Мать смотрела на стоящих в палисаднике усталых, запыхавшихся от быстрой работы сыновей и улыбалась. В ее глазах Василий вдруг увидел вспыхнувший огонек далекой и невозвратной молодости.

Такой он и запомнил ее...

Лунный сон

Много-много раз мне хотелось написать о своей школьной любви. Но память о ней, приходящая ко мне временами, была настолько трепетна и дорога, что я боялся написать плохо, неубедительно, некрасиво и поэтому не решался.

Но вчера мне приснился сон. Я уснул на балконе нашей старой уже и кое-где потрескавшейся дачи. Над головой моей висела совершенно круглая безразличная луна, такими же казались и звезды. Я уснул под их мерцание.

...Явственно и отчетливо я увидел ее – черноглазую, с гладко зачесанными и стянутыми на затылке светлыми волосами. Я увидел ее улыбку – задорную, чуть смущенную, подчеркнутую ямочками на слегка веснушчатых щеках.

Я смотрел на нее как тогда, как в детстве, и у меня вновь трепетала душа, трепетала сладостно и тревожно, медленно падая в глубину моего тела.

Во сне она была молодая, хорошо одетая, сейчас не помню во что, но уже не школьница. Она вышла ко мне из дверей большого красивого дома, из открытых окон которого лился яркий электрический свет, звучала незнакомая мне, но очень нежная музыка. Солировала скрипка.

Был вечер. Вверху дрожали, будто живые, звезды. Они казались большими, очень большими, словно праздничные гирлянды. Она шла мне навстречу, улыбалась той девственной школьной улыбкой, протягивая навстречу полные, белые, словно накрахмаленные руки. Пока она приближалась, я успел подумать о том, что прошло тридцать лет, а она осталась почти такой же молодой и красивой, в то время как я, шедший ей навстречу, подпирал ворот потертого вязаного свитера седеющей короткой бородкой, а лоб мой был уже давно изрезан неглубокими, но отчетливыми морщинками...

Мне вдруг стало страшно. Я не хотел показываться ей таким, и пока мы с разных концов шли на залитое светом простран-

ство, захотелось повернуть назад или спрятаться куда-нибудь за ночные деревья. Но она шла быстро, слишком быстро. Подол ее длинного платья развевался, словно от сильного ветра, хотя была тишина, и под светлыми, почти осязаемыми лучами, исходящими из ее глаз, я был словно замороженный.

За ее спиной, несмотря на ночь, висело солнце. Оно было точно такое же, как в тот далекий вечер шестьдесят какого-то года: ярко-оранжевое и неподвижное. Правда, тогда оно было слегка закрыто ржавым куполом старой неработающей церкви. В том городе было то ли тридцать, то ли сорок церквей, все они были неработающими. Лишь большой голубовато-золотистый Софийский собор величаво стоял на высоком берегу скучной и медленной реки, как бы властвуя над патриархальной тишиной. Иногда мы слушали торжественный звон его колоколов.

Тогда мы встретились с ней случайно, одновременно приехав в городок из своего яблочного райцентра. Я заканчивал местный пединститут, она начинала работать в аптеке. Ощущение школьных лет, видимо, вернулось и к ней и ко мне. И мы уже не смущались, как прежде. Мы пошли по тенистой улице. Она держала меня под руку и что-то говорила, что-то говорил и я. Нам было весело и хорошо....

О чем она говорила – я теперь совершенно не помню, но то, что она не вспомнила мою глупую высокопарную любовную поэму, воровски всунутую ей в руки перед Новым годом в восьмом, а может быть в девятом классе, – помню точно.

Что случилось потом? Почему мы не остались с ней вместе? Кажется, случилась простая вещь: образ, созданный в воображении, редко сходится, а может быть, никогда не сходится с реальным человеком. Помню, что, осознав это, я был разочарован, даже надменен, и мне казалось, что судьба обманула меня.

На другой день я не постарался встретиться с ней, нашлись дела поважнее... А через пару лет она вышла замуж. Мне кажется, что она до последнего ждала меня. Да так и не дождалась...

Шли годы. Она опять вдруг стала для меня образом, символом. В своем сознании я вновь сделал ее юной старшекласницей

со звонким смехом и светлой, чуть лукавой улыбкой. Такой и сохранилась она в моем сердце.

Теперь, во сне, она засмеялась тем девичьим смехом и, подойдя ко мне, обняла и поцеловала в губы. Но все, что происходило, я видел как бы со стороны, не чувствуя ее прикосновений, лишь созерцая их. А может, она и не прикасалась ко мне, лишь обдала меня легким запахом ромашкового луга, где я однажды встретил ее, гуляющую с подругой...

Я глядел в ее молодые черные, будто бездонные глаза и хотел рассказать о том, что делал и как жил все эти годы, пока мы не делились. Я хотел поведать ей, как больно, как несправедливо ударила меня судьба – и раз, и другой... Но рот мой не повиновался мне, голоса не было слышно. Однако я чувствовал: она все знает про меня, про всю мою жизнь...

Перестав улыбаться, она погладила меня по голове мягкой и теплой рукой, и я вновь ощутил запах ромашкового луга – запах первой любви. Слезы вдруг полились из моих глаз, потому что давно уже после смерти матери никто не гладил меня так, будто родного.

Я плакал о несбывшихся надеждах, об ушедшей безвозвратно юности, обо всем, что не случилось в моих далеких и недавних мечтах.

Когда я проснулся, луна все еще висела на тихом звездном небе. Видимо, спал я совсем недолго, всего несколько минут.

Я смотрел на полный, как мне теперь показалось, улыбчивый лик луны, и мне пришло на ум, что она-то и подстроила этот прекрасный сон, заставивший тосковать и радоваться мою душу, напомнивший об очень дорогом и светлом, что было в моей уже уходящей понемногу жизни.

Мне было жаль, что там, во сне, я не успел ни о чем спросить ее, мою школьную любовь. А потом подумал: разве можно о чем-то спросить образ, мечту, свет той или вон той звезды, лучи которой погаснут лишь вместе с человеком?

Сирень цвела

Заместитель директора краеведческого музея Павел Никанорович Кузин остановился на верхней лестничной площадке старинного четырехэтажного дома и перевел дух. Поискал глазами кнопку звонка, не нашел и осторожно стукнул несколько раз костяшками пальцев по коричневой дерматиновой двери.

Никто не ответил. Было тихо. С улицы через открытое окно доносились сдержанные гудки автомашин, звонкие людские голоса, в чьей-то квартире играли на фортепьяно Чайковского. Кузин постоял еще несколько мгновений и более настойчиво стукнул в дверь.

Послышалось шарканье обуви о пол. Высокая дверь тяжело приоткрылась, и из-за нее показалась маленькая, совершенно седая старушка в старомодном бархатном халате. Взглянув на Кузина снизу вверх чистыми глазами, она спросила:

— Вы из музея?

И, получив утвердительный ответ, провела Павла Никаноровича в небольшую гостиную, показала рукой на серый плюшевый диван.

— Вы посидите, я сейчас, — сказала хозяйка и вышла в смежную комнату.

Оставшись один, Кузин огляделся по сторонам. Все в комнате дышало стариной — и камин, облицованный голубой плиткой, и небольшой цветастый коврик с китайским узором, и черные фигурные стулья с вогнутыми ножками.

Тяжелая портьера была слегка отодвинута, и с улицы проникал осторожный луч предвечернего осеннего солнца, создавая в комнате особый уют. Павел Никанорович невольно ощутил как бы прикосновение к давно ушедшему времени.

Он поднял глаза и увидел средних размеров картину, написанную маслом. Картина висела напротив камина. В такт легкому движению портьеры лучи солнца скользили по полотну, и казалось, что нарисованные кусты сирени качаются под ветром. Си-

рень была — во весь холст, ее цветение походило на бушующее море. Ветер клонил упругие ветки к маленькому ветхому забору. И стоящая у забора под сиренью тоненькая фигурка девушки в белом платье, казалось, сейчас будет поднята вверх порывом ветра и унесена, как лист осеннего клена.

— Вот это и есть та самая картина, — сказала хозяйка дома, входя из соседней комнаты уже в строгом темно-синем платье.

Она позвонила в музей вчера вечером и сообщила, что хочет передать в дар подлинник Сумцова. Ни директор музея, ни Павел Кузин не могли поверить в это.

— Откуда она у вас... простите?

— Анна Викторовна.

— Как же появилась у вас картина, Анна Викторовна?

Старушка ответила не сразу, разглаживая на висках маленькими бледными ладонями пряди волос. Затем она встала и подошла к полотну. Солнце упало на ее лицо, и Кузин неожиданно увидел, с какой трепетной грустью смотрела Анна Викторовна на картину.

— Это я тут изображена, — наконец тихо сказала она. — Ялта. Пятнадцатый год. Все как будто вчера...

Анна Викторовна присела на стул у самой картины и, слегка прикрыв глаза, заговорила.

* * *

...Был дождь. Море штормило, и мокрый ночной мир сузился до маленькой круглой беседки, в которой дрожа всем телом, стояла я. Час назад, одна уйдя бродить по берегу, я забрела в эту беседку, пошел дождь и вот теперь сидела здесь, глядя на блестящие беспокойные волны. Волны гудели все суровее, крупные капли дождя ритмично били по металлической крыше беседки, небо совсем померкло, и я почувствовала себя одной в целом мире...

— Анна Викторовна, где вы? — совсем рядом раздался голос князя. — Анечка!

Его белый офицерский китель мелькнул за кустами, по мокрой дорожке застучали сапоги.

Я прислонилась к деревянной стойке беседки и замерла. Князь прошел совсем рядом, не замечая меня в темноте, и я облегченно вздохнула. Дождь все лил, море шумело. Ощущение одиночества было настолько сильным, что прошла обида на мать, пригласившую к нам на ужин князя и сделавшую целью своей жизни соединить нас с ним под венцом.

Я вспомнила свой далекий провинциальный городок, где родилась и выросла, подруг, мальчишек — свое такое еще совсем близкое, но уже невозвратимое детство и заплакала...

Внезапно кто-то большой и мокрый стремительно вошел в беседку, и я вскрикнула.

— Кто здесь? — спросил строгий мужской голос.

Так я впервые встретилась с Сумцовым. Дождь застал его в горах на этюдах, и он был мокрый, взъерошенный, сердитый.

Дождь все шел, и Сумцов сказал:

— Не до утра же нам тут сидеть. Сделаем так: вот вам мой плащ. Он хоть и мокрый, но под ним вас ливень не достанет. И бежим — тут рядом моя хижина...

Мы побежали. Вспышка молнии высветила его профиль — профиль молодого, но бородатого человека. Капли дождя стекали по курчавым завиткам бороды прямо ему за воротник, и он смешно вертел головой с прилипшими ко лбу мокрыми волосами.

Внезапно я почувствовала под собой скользкий грунт и неловко начала падать. Сумцов подхватил меня и поставил на ноги. Однако острая боль пронзила ногу, и я вскрикнула. Мой напарник без лишних слов взял меня на руки и понес, прикрывая большим колючим лицом от ветра и дождя. Совсем рядом я слышала его напряженное дыхание и стук своего сердца...

Сумцов принес меня к узкому флигелю старого кирпичного дома, который снимал на время работы в Ялте. Он осторожно опустил меня возле окна и толкнул ставни, которые бесшумно отворились. Сумцов быстро вскочил на подоконник.

— Давайте ваши руки, — негромко, но властно сказал Сумцов уже из комнаты. Я выполнила его команду и почувствовала, как сильные мужские ладони крепко обняли мои пальцы и втянули меня внутрь флигеля.

— Прекрасно, — сказал Сумцов, отряхивая с волос капли дождя, — теперь мы спасены и даже не разбудили хозяев. А как ваша нога?

Он усадил меня в плетеное кресло возле камина, принес из глубины комнаты плед и накинул его мне на плечи. В комнате было темно, но время от времени она озарялась далеким отблеском безголосой молнии, и на миг возникали резкие очертания вещей и мебели. Все это казалось мне сновидением...

Сумцов подошел, наклонился и взял мои руки в свои. Ладони его были влажные, но теплые.

— Сейчас согреетесь, — сказал он, — выпить не хотите?

Я отрицательно замотала головой. Мне уже было тепло и спокойно, почти совсем не болела нога. Сумцов стал на колени, дотронулся до моей ступни и, тихонько сжимая ее, сделал какие-то движения, боль совсем прекратилась.

— Спасибо вам, — невольно сказала я.

— Вот и хорошо, — он все еще стоял на коленях, внимательно всматриваясь в мое лицо своими блестящими грустными глазами, которые еще больше блестели при вспышках молнии...

* * *

— Привет, бабуля, — в комнату, прерывая рассказ Анны Викторовны, стремительно вошла высокая рыжеволосая девушка в джинсах, в черной кофточке с глубоко открытым бюстом. — Венька не звонил?

Она едва заметно кивнула Кузину, в секунду оглядев его с ног до головы, прошла на кухню, где загремела кастрюлями. Вскоре девушка уже говорила по телефону:

— Венька, черт! Я тебе сделаю! Мы с Маринкой ждем, а ты? Какая лекция! Брось, не придуривайся. В общем, одна нога там, другая здесь. Пока!

Анна Викторовна торопливо встала и плотно прикрыла дверь кухни.

— Внучка, — сказала она, как-то неловко улыбаясь. — Хорошая девочка, но очень эмоциональная...

— Так что же было потом? — спросил Кузин.

* * *

Та ночь у моря осталась с нами навсегда. Через неделю Сумцов уехал в столицу. Но всю эту неделю мы каждый вечер встречались в теплой сиреневой аллее.

Совсем рядом мерно и затаенно дышало море. А на сбегаящих склонах примостилась небольшая деревушка. Внизу, у воды, стояли глиняные домики, покрытые соломой и черепицей, обрамлённые роскошными кустами сирени и создававшие ощущение уюта и умиротворения.

Все эти дни Сумцов рисовал мой портрет. Я впервые позировала такому известному мастеру, волновалась, и Сумцов чувствовал это. Иногда он откладывал кисть и подходил ко мне вплотную. Он брал мою руку в свои узкие, но сильные ладони и долго смотрел в глаза. Зачем он это делал, не знаю. Он не хотел смутить меня, возвеличиться в глазах молоденькой девушки — я это чувствовала. Может быть, он хотел глубже узнать душу человека, образ которого создавал на полотне? Но все равно от его взгляда сердце падало куда-то далеко-далеко, в самую глубину моего тела...

С ним я впервые почувствовала себя человеком, способным искренне любить не только его, но и весь мир: и цветущую сирень, и склоны гор, и далекую угасающую полоску предвечерней зари над морским побережьем.

А потом он уехал в Петербург, к семье. Из газет вскоре узнала, что осенью Сумцов вдруг записался добровольцем в армию и ушел на фронт. Через месяц с небольшим, в ночь под новый 1916 год, в конном бою с германцами русский художник Андрей Сумцов погиб.

Прошел год, и я однажды в своем патриархальном Ельце получила письмо из Санкт-Петербурга. Вдова Сумцова писала, что ее муж просил в случае его смерти передать картину «Сирень цвела» мне, Анне Зараевой. Вскоре эта картина, та самая, которую вы, молодой человек, видите, была доставлена в наш город.

* * *

— Ну все, ба, я побежала, — в комнату опять вошла рыжеволосая красавица, уже одетая в прекрасное вечернее платье, — не скучай без меня, я скоро...

— Да уж, ты поторопишься, — чистым и открытым смехом засмеялась старушка, и острые морщинки задвигались на ее до того неподвижном и печальном лице.

— Вообще-то она мне правнучка, — обращаясь к гостю, откровенно сказала Анна Викторовна и, кивнув на висящую на стене пожелтевшую от времени всем знакомую фотографию Сумцова, вдруг добавила: — И его тоже. Только он никогда о том, что потом случилось, не знал и знать не мог..

Павел Кузин шел по тенистой осенней улице и бережно нес завернутую в полиэтилен картину. Ему казалось, что вместе с картиной он уносил с собой целую человеческую жизнь. Так, наверное, и было на самом деле.

Ничего не случилось...

Утром прораб Венька Сорокин опять увидел эту лохматую черно-серую дворнягу. Она сидела рядом с большой алюминиевой цистерной для воды и неподвижно смотрела на стройку, где шла закладка фундамента под большой многоэтажный дом.

Вчера, перед вечером, проходящие мимо пацаны стали бросать в собаку камни, и она коротко взвизгнув и поджав хвост, убежала за пыльные кусты, разделявшие стройку от соседнего двора.

Сторож Баранов, пожилой человек с мясистым красноватым лицом и большими натруженными руками, отругал пацанов и, когда они стремглав убежали, сказал, обращаясь к Веньке:

– Вот подлецы! Что из них только выйдет? А собаку эту прогонять – бесполезно. Она сюда каждый день приходит – с тех пор, как строить начали.

– Вот как? – удивился Сорокин.

– Вот так, – в тон прорабу продолжил сторож. – Тут раньше частные дома стояли, а потом их снесли. Видимо, в одном из домов собака и жила...

Баранов прикрыл свою сторожку на маленький замок, похожий на спичечный коробок и пошёл домой отдыхать после ночного дежурства.

Сегодня собака опять сидела на том же месте. На стройке ещё было тихо: не визжали краны, не матерился бригадир Петр Петрович, не гудели моторы самосвалов. Венька подошёл к собаке и, присев на корточки возле неё, протянул ей кусок колбасы – часть своего обеда, приготовленного Антониной.

Собака взглянула на Веньку слегка слезящимися выпуклыми карими глазами и вдруг глухо, тоскливо заскулила. Сорокин положил колбасу на пожухлый кленовый лист у ног дворняги и погладил её по голове. Собака слегка вильнула лохматым пыльным хвостом, но есть не стала.

– Вот упрямое животное – услышал Сорокин скрипучий старческий голос за спиной. Рядом с ним стояла старушка в пёстром цыганском платке с коричневой хозяйственной сумкой в руке.

– Вы знаете, что это за собака? – спросил Венька.

– Конечно, знаю. Это Джек, Ромки Зайцева кобель. Они тут жили в доме с крыльцом. Вот под крыльцом Джек и жил. Давно уж он у них. А как начали переселять, Ромка с женой и детьми съехали на новую квартиру, а Джека оставили. Куда его в городские условия-то?

– Значит, бросили пса?

– Да, так оно и вышло. Ромка его отвёз в лесопарковую зону и как бы забыл там. А кобель вот вернулся на старое место и ждёт хозяев. Эх, жизнь наша! Жалко, собаку, кому она теперь нужна...

Старушка вздохнула, перекрестилась и, тяжело опираясь на посох, пошла по своим делам. Потом остановилась и, видя, что Венька всё ещё стоит возле собаки, со вздохом сказала:

– И я тут жила со стариком своим по соседству от Зайцевых. Почти полвека прожили. А теперь нету ни хаты нашей саманной, ни березки, что под окном с войны ещё росла, на старика моего – третий год как...

Вечером, когда затихла стройка, Венька вновь подошёл к собаке, поставил перед ней консервную банку с недоеденной килькой. Джек поднял голову и внимательно посмотрел на Веньку. «Может он сравнивает меня с бывшим хозяином?» – невольно подумал Сорокин. Он положил руку на широкий загривок и слегка погладил собаку. Потом, когда Джек вылизал содержимое банки, Венька накинул ему на шею заранее приготовленную из строительного шпагата верёвку.

– Пойдём со мной, Джек. – Сорокин потянул за самодельный ошейник.

Пес встал и пошёл рядом. Дома никого не было. Антонина, как всегда задерживалась в своей бухгалтерии, тёща, Лидия Сидоровна, вместе с Наташкой уехала к брату в деревню. Венька принёс с балкона в прихожую старый застиранный коврик и положил его у стены.

– Ну что, гость, ложись, отдыхай, – сказал Венька и отцепил верёвку от шеи Джека. – Вот сейчас пойдём в ванную купать тебя...

Пёс послушно сел на коврик, затем лёг, положив морду между лап.

– Нормально, – улыбнулся Венька, – кажется, жизнь налаживается...

Он прошёл в ванную и, закрыв пробкой отверстие, стал напускать воду.

В это время пришла жена, увешанная сумками, разгорячённая ходьбой.

– Это что за номер? – Антонина замерла на пороге, увидев Джека.

– Знакомься, Джек, – сказал из приоткрытой двери ванной Венька. – Между прочим, классный пёс, всё понимает, только что не говорит...

– Какой Джек? – Антонина, не снимая плаща, опустилась на табурет. – Зачем он нам?

– Жалко собаку, бросили её, – сказал Венька.

Он понял, что сейчас начнётся новый скандал, и остро ощутил, как бьется жилка на его правом виске, почти услышал, как она пульсирует, вот-вот готовая лопнуть...

На душе стало тоскливо, как всегда перед большой, тяжелой ссорой с женой.

– Жалко? Тебе бродячую сучку жалко? – Антонина с силой оттолкнула от себя голубой пуфик, который отлетев, едва не ударил собаку.

Джек вскочил, прижался к стене и вдруг грозно зарычал.

– Вот! Она может бешенная, а ты её – в дом! Идиот!

– Это не сука, – крикнул Венька, отрицательно взмахнув рукой.

Он стоял шагах в трёх от Антонины, но она по-своему отреагировала на взмах:

– Ты что, на меня руку поднимаешь? Из-за собаки? Идиот! Неудачник! Послал же господь на мою голову! Ох...

Антонина откинула своё большое всё еще стройное тело на одежду, висящую на вешалке, и заплакала.

...Венька Сорокин медленно шёл по ночному городу. Рядом на поводке семенил Джек. Было уже поздно, и расположенный рядом проспект, наэлектризованный за день сумасшедшим потоком автомобилей, был пуст, почти безлюден. Пусто было и на душе у Сорокина...

В старом сквере, где Венька бегал пацаном, он присел на покосившуюся скамейку, продолжая держать Джека на поводке.

Где-то здесь он и жил с отцом и матерью. По соседству жили друг Серёга, перворазрядник по боксу, и Марьяна, светловолосая, синеглазая, желанная...

Однажды отец собрался на выходные к деду в деревню, взял с собой и молодёжь. Венька навсегда запомнил ту поездку в синем отцовском «Москвиче», качку на неровной просёлочной дороге, тёплое колено Марьяны, сидящей рядом на заднем сидении, свет ранней утренней зари, ослепивший их, когда машина вылетела за город. На широком просторе виднелись лес, речка, а в воздухе висела осязаемая радость молодости и ощущение совсем близкой любви...

В деревне после обеда отец взял косу, отбил полотно на станке и, наточив его потёртым, выдавшим виды бруском, пошёл за огород накосить сена старой козе Бобылихе.

Дед Митроха, хозяин козы, ходил вокруг отца, охал, крихтел, чертыхался по поводу своей немощности и с гордостью рассказывал молодым, что его сын сызмальства был способный к крестьянскому делу. Дед жил один, вспоминал войну, с которой вернулся с двумя орденами Славы и медалью «За отвагу», скучал по умершей жене, по близким, живущим в городе, и та встреча была для него большим праздником.

Запомнилось ритмичное пение отцовской косы, широко гуляющей по сыроватой после дождя траве, напевный смех Марьяны, убегающей в чащу вместе с высоким, гибким Серёгой... Когда скрылось её светлое в крапинку платье за деревьями, померкло в душе Веньки, будто оконышко на солнечную сторону закрылось.

Сидя на лавке в сквере, Сорокин стал думать о своей жизни. Права Антонина, неудачник он. Уже с десятков годов пронеслось после института, а он всё в прорабах гуляет. Однокурсники давно управлениями командуют или в высоких кабинетах заседают. Дочку Наташку в детский садик не устроил, квартиру жена на своё имя получила, в этом году льготную путевку в санаторий опять проворонил...

В такие минуты обиды на судьбу, беспомощности, даже злобы Венька Сорокин сильно расстраивался, остро ощущал свою никчемность, нерешительность. Вспомнилась драка на рыбалке с соседом по лестничной площадке, несправедно обвинившим его в краже бутылки пива из авоськи, опущенной в речку. Вспомнилось грязное ругательство чиновника в администрации района, куда Венька пришёл просить место в детсаду для Наташки. Ни в первом, ни во втором случае он не дал отпора, не скрутил хилого соседа, не поставил на место чиновника-горлопана...

Венька вздохнул и закрыл глаза. Привалившись к спинке скамьи, он незаметно задремал. Ему снилось раннее утро в деревне, умерший пять лет назад дед Митроха в коричневых сатиновых штанах и стоптанных кирзовых сапогах, сутуло идущий по ковыльному полю. «Что же ты не приезжаешь, внучек? – спрашивал дед. – Некому мою могилку прополоть, вот ты бы приехал и прополот, а?». «Прополю, дедушка, прополю», – отвечал Венька, и протягивал руку, чтобы прикоснуться к дедовой белой бороде, словно флаг развивающейся на ветру. Но дотянуться никак не мог...

Венька заворочался и внезапно проснулся. В сквере было тихо, из-за высоких домов во двор заглянула луна и, осмотревшись в её свете, Венька не увидел рядом Джека. Его не было, он ушёл вместе с ошейником и верёвкой, выпавшей из руки заснувшего Сорокина.

Близился рассвет, город как бы застыл на старте в новый шумный день, в гвалт и суету улиц, визг автомобильных тормозов, в шарканье людских шагов по асфальту. В предрассветный час Веньке показалось, что он присутствует перед началом спек-

такля. Вот откроется занавес, и люди на сцене задвигаются, засуетятся.

Венька шёл и вспоминал всё плохое, что было в его жизни с Антониной. Он вспомнил, как нехорошо она отнеслась к его больной матери, как не пришла на её похороны, как неприветлива была с отцом, единственный раз заехавшим к ним домой.

Эти мысли озлобили его сердце. «Сегодня я бы ей сказал, – зло думал Венька, – ишь, собака ей не угодила. А я может быть всю жизнь о собаке мечтал...»

Незаметно Венька подошёл к стройке, где работал. Никого еще не было. Лишь в окне сторожки шевельнулась занавеска, и вскоре Баранов, неуклюжий, сонный, явно с похмелья, вылез из узкой фанерной двери.

– А, прораб, привет. Что-то нынче рановато. Выслуживаешься? – он трескуче засмеялся и присел на кирпичи, сложенные возле сторожки. – У нашего хозяина выслужишься, как же! Ему чихать на людей. Главное: давай-давай, вкальвай! Буржуй, одним словом. Правильно их в семнадцатом трягнули. Да мало, видно...

Баранов махнул глыбистой рукой и закурил. Потом сказал, глядя в сторону:

– Ну ты смотри, опять он здесь!

Джек сидел на том же месте, где обычно. Венька подошёл, присел рядом и снял с собаки ошейник с длинной, уже размочаленной верёвкой.

– Ну что ты убежал, обиделся что ли? – спросил Сорокин и осторожно погладил собаку по голове.

Джек грустно посмотрел на человека карими глазами и слегка шевельнул хвостом. Перекинул его слева направо и вновь замер.

– Ладно, сиди, – сказал Венька, – вечером пойдём домой.

На душе вдруг стало спокойно. До этой утренней встречи с Джеком, он собирался наговорить Антонине много резких слов, упрекнуть и в том, и в этом. Но сейчас что-то повернулось в его душе и Венька подумал о том, что Антонина прожила с ним без малого двенадцать лет и, наверное, проживёт ещё больше. Она разделяла с ним всё тяжелое, трудное, будет разделять и дальше.

Он вспомнил, что у неё появилась ранняя седина в волосах. Было время, когда он гордился своей статной и умной женой, её делами на службе, радовался её воркованию над кроватью маленькой Наташки.

«А что случилось-то?» – мысленно сам себя спросил Венька и так же мысленно ответил: «Да ничего не случилось. Жизнь продолжается...» Он поднялся, подмигнул молчаливому псу и пошел к прорабской, где уже собирались рабочие. Они ждали его. И, понимая это, Сорокин всё ускорял и ускорял шаг.

Вечером, когда стройка вновь затихла, Венька собрался домой. Проходя мимо цистерны с водой, он не увидел Джека. Сорокин побродил по скверу соседнего двора, заглянул в подъезд старинного каменного дома. Собаки не было.

Веньке опять стало тоскливо, одиноко и, схлынувшая было тревога, вновь накатила на сердце. «Ничего не случилось», – мелькнула утренняя мысль. Да, ничего не случилось того, о чём мечталось. Ни белой стаи облаков под крылом его самолёта, ни Марьяниной любви, ни еще чего-то важного, ожидаемого. Вот и Джек от него ушёл...

В том, что Джек ушел именно от него, Венька был уверен, словно кто-то о том нашептал ему по секрету...

Подарок

Любка Куренкова в Михайловку приехала вечером, последним автобусом. От остановки, а вернее от деревянного электро-столба с косо прибитой дощечкой, где были обозначены часы прибытия единственного городского маршрута, Любка зашагала по знакомой улице.

Она прошла мимо покосившейся саманной мазанки и, бросив взгляд на заброшенный двор, проследовала дальше, к Зайцевым.

Когда-то Любка Куренкова жила здесь, в этой мазанке вместе с бабушкой Матрёной и матерью, Зинаидой Прокопьевной, колхозной дояркой, бегала в белокаменную школу–восьмилетку, что возвышалась в центре деревни над избами, словно флагманский корабль. Три года за одной партией она просидела с Анной Никулиной, теперь по мужу Зайцевой. К ней-то Любка и приехала, получив приглашение на день рождения мужа Генки, их одноклассника.

Когда умерла мать, Любку забрала в райцентр тетка Полина, продавщица мясного павильона на колхозном рынке: на слабослышащую ветхую Матрёну Любку оставлять было нельзя.

Любка после восьмого класса учиться дальше не пошла и тоже, как и тетка, стала продавщицей в том же павильоне.

Шло время, а с личной жизнью не ладилось. Поклонников было – хоть отбавляй, а замуж долго не звали. Потом позвали, но брак продлился недолго – через год с небольшим низкорослого, патлатого, вечно злого мужа Славку прибили в пьяной драке, и Любка осталась одна.

И потянулась уже привычная жизнь: здравствуй – до свиданья. Рослая, статная, с высокой грудью и полными, чуть кривоватыми ногами Любка мужикам нравилась сразу и бесповоротно. Наверное, кто-то нравился и ей, но в круговерти встреч и прощаний она не успевала определиться с выбором...

Постепенно ей надоело быть чьей-то и – ничьей. Она стала жить с директором рынка, лысоватым, одышливым Игнатом Серафимовичем, человеком, лет на тридцать старше её, но и тут счастья не случилось. После одной из криминальных разборок на рынке Игната Серафимовича хватил удар, и он скорострительно скончался.

Любка от этой кончины ничего не поимела: с сожителем они не были расписаны, и многочисленная родня Игната Серафимовича быстро и ловко выпроводила Куренкову из просторного кирпичного дома – опять к тетке.

Когда в начале сентября из деревни ей позвонила Анна и пригласила на день рождения мужа, Любка обрадовалась. Взяла на два дня отпуск за свой счёт и поехала в Михайловку, где не была уже лет пять, с тех пор, как ездила хоронить бабушку Матрёну.

В автобусе она представляла улицы родной деревни, пологие берега узкой, но быстрой речушки, почти слышала гогот гусей у ограды. Вспомнила и заветную тропинку в березняке за околицей, по которой в далёкой уже юности гуляла она с Генкой Зайцевым, ставшим потом мужем её сердечной подруги Анны.

В палисаднике она долго не могла открыть металлическую калитку, чертыхаясь, стукнула ладонью по загудевшему железу и крикнула:

– Аллё, хозяева! Гостей принимаете?

Из будки лениво вылез пёс Гаврик и, выгнув спину, хрипло затыкал. На порог выскочила Анна.

– Ой, Люба! Сейчас открою, – и кинулась к калитке.

– Ну, вы и куркули, – чмокнув подругу в щеку, Любка оглядела подворье. – Расстроились, будто и перестроен с кризисами на вас не было...

– Да хватит тебе, – смеялась Анна, – как все живём...

– Кому ты рассказываешь, – Любка взошла на высокое деревянное крыльцо и плюхнулась на березовую лавку. – Уморила одна...

...Поздно вечером, когда гости разошлись, изрядно поддатый Генка поднялся из-за стола.

– Ты, Любаня, не обижайся, – громко икнул он, – пойду силы восстанавливать, а вы с Нюркой поворачивайте ещё...

Генка хлопнул дверью, и подруги остались одни.

– Ну что, давай еще дерябнем? – сказала Любка, наливая себе в пузатый фужер темного вина.

– Давай, – Анна подставила маленькую коньячную рюмку.

– Нет-нет, так не честно, – Любка, привстала и подтянула к себе другой фужер, который тут же наполнила, слегка расплескав вино на белую скатерть.

– Ладно, ничего, – махнула рукой хозяйка. – Ну, давай выпьем, а то когда еще встретимся...

– За дружбу! До дна! – гостя выпила первой.

Они попытались вспомнить детство, юность. Но разговор все время сводился к Любкиной городской теперешней жизни, а Анна и не знала, о чём рассказывать. Однако, после еще одного тоста разоткровенничалась:

– Вот ты про дом, про усадьбу говорила, восхищалась, а не в радость всё – ведь детей-то у нас нет. Ходила к врачам, говорят: надейся, а сколько надеяться-то? Вот Генке уже тридцать пять и мне через год столько же будет...

Анна заплакала и вместе со слезами стала размазывать по щекам косметику.

– Да ладно, подруга, не переживай! – Любка обняла Анну за худые плечи. – И без детей жить можно. Я вот живу и не тужу....

Они замолчали. Было тихо. Лишь в кухне настойчиво капала вода из крана. Анну клонило ко сну, но Любка, всплеснув руками, сказала:

– Слушай, я же подарок Генке забыла отдать, – и полезла в синюю сумку. – Кино классное привезла. Видик-то у вас есть?

– А как же, – Анна кивнула в сторону телевизора, – у нас всё как у людей...

– Сейчас ахнешь, – Любка вытащила серебристый диск из коробки и воткнула его в плеер. – Где тут нажимать?

Анна встала, слегка покачнувшись, подошла, показала. Засветился экран телевизора, начался фильм.

– Это что? – Анна смотрела и не понимала.

– Это, Нюр, эротика, – захохотала Любка, – серая ты. Вот будете теперь смотреть с Генкой да радоваться жизни...

– Ну и подарок! – Анна плюхнулась на диван и прикрыла глаза. – Это нам ни к чему. Мы Пьеху смотрим, «Золотое кольцо»...

Вскоре она спала, слегка причмокивая полными розовыми губами.

«Вот лахудра, уже наклюкалась, – чертыхнулась привыкшая к долгим застольям Любка, – бросила меня одну. Хозяйка называется». Она ещё немного посмотрела фильм, невольно подумала о своем последнем сожителе, погоревала, что его нет рядом и выключила телевизор.

Любка зевнула и огляделась в гостиной. Хозяйка заняла диван, больше здесь лечь было негде, и Любка пошла искать себе пристанище на ночь.

В соседней комнате на широкой супружеской кровати, закинув мощные руки за голову, спал Генка. Он лежал поверх одеяла, и Любка с интересом окинула взглядом его мускулистое тело. Где-то под ложечкой у неё засосало, защемило. Так было в далёком детстве, когда она лазила однажды к соседке Парамоновне в курятник воровать тёплые яйца из-под несущек...

Любка оглянулась на дверь, прислушалась. Было тихо. Лишь Генка с силой выдыхал и вдыхал воздух. Любка торопливо сбросила с себя одежду и по-кошачьи скользнула к Генке, обхватив его кудлатую голову мягкими горячими руками. Он открыл глаза и увидел качающийся у его лица тяжёлый бюст бывшей одноклассницы...

Незадолго до рассвета Анна проснулась от надоевшего собачьего гавканья. Под окнами на деревянной улице сцепилась свора бродячих псов. Из открытого окна она шикнула на собак и, ступая босыми ногами по линолеуму, пошла на кухню. Открыв холодильник, откупорила бутылку миниралки, и прямо из горла попыталась выпить. Но делать это она не умела и, глотнув раз другой, поперхнулась, закашлялась...

Из кухни Анна пошла в ванную, умылась холодной водой и почувствовала себя лучше – голова опять стала лёгкой, но глаза слипались.

Открыв дверь в спальню, остолбенела: её закадычная подруга Любка и любимый муж Генка, тяжело дыша, тискали друг друга, путаясь в перине. Анна вскрикнула и, покачиваясь уже не от вина, пошла в гостиную.

Из приёмника видеоплеера торчал диск – Любкин подарок. Анна выхватила его, переломила пополам и с остервенением запустила в окно.

Босой, в полосатых трусах пришёл Генка.

– Нью, ну ты не бери в голову. Так получилось... Я даже и не знаю, как это вышло, думал всё это во сне, – ухмыльнулся муж.

Эта ухмылка окончательно вывела Анну из себя.

– Уйди, гад, не хочу тебя видеть, завтра же уйду к матери, – из её груди выходили эти слова, и она слышала их, словно со стороны, словно звучали они с магнитофонной ленты. Никогда раньше таких слов она мужу не говорила и не могла даже подумать, что когда-нибудь скажет, что будет у них такая страшная ссора. Анна застонала и закрыла лицо руками...

– Нюбочка, ну прости, прости, – затараторил испуганный поведением жены Генка и начал размыкать её руки, пытаясь обнять и прижать к себе супругу.

В это время в комнату вошла Любка.

– Извини, Ань, по пьяной лавочке вышло, – заговорила она торопливо и попыталась пошутить: – Я больше так не буду...

– Сволочь! – крикнула ей в лицо Анна.

– Да ладно, не забудет от твоего Генки, – поменялась в лице Любка, – сейчас уйду, уеду, напраздновалась тут у вас по самое некуда...

– Гадина! – почти прорычала Анна.

– Спасибочки, – Любка театрально поклонилась и вдруг, чтобы сделать подруге побольнее, сказала: – Да мы с Генкой ещё в очень ранней юности в березняке миловались. Ты ей расскажи, Геночка...

В груди у Любки заклокотал смех, с этим клокотом она повернулась и пошла к двери, покачивая мощными бёдрами.

Анна вскочила с табуретки, схватила со стола большой кухонный нож и кинулась вслед за ней.

– Нюра, не надо! – Генка сзади стремительно обнял жену за талию.

– Уйди! – она резко обернулась, попыталась вырваться, но сильные руки мужа сковали её.

– Уйди! – опять закричала она и машинально, словно от мухи, отмахнулась правой рукой, в которой был нож...

Анна почувствовала, как зацепила что-то мягкое, податливое и, обернувшись, увидела, что Генка медленно оседает на пол, схватившись за горло....

Любка Куренкова, стоя в проёме двери, словно в замедленном кино видела падающего Генку, потом быстро густеющее под ним пятно крови, безжизненно замершую с ножом в руке Анну.

Любка истошно закричала, кинулась к входной двери, в сенях долго не могла приподнять щеколду, до крови оцарапала руку и выскочила на улицу.

Она бежала босиком по мокрому после ночного дождя лугу в сторону леса, не осознавая, зачем и куда бежит. Где-то рядом, за верхушками деревьев светлело небо, приближался час рассвета, но ещё было довольно темно, и в этой темноте Любка упала, больно ударившись коленом о ствол дерева.

Она лежала под старой кривой березой, чувствовала запахи коры, мха, прелых прошлогодних листьев и долго плакала навзрыд, как плачут мужчины. Потом ей вдруг вспомнилось, как когда-то давным-давно сидели они здесь, под березой, с Генкой, и он взахлёб рассказывал ей о космосе. Она слушала и, привалившись к нему спиной, долго-долго не мигая смотрела в ночное небо. Там, в немыслимой высоте шло звёздное пиршество, но ей казалось, стоит протянуть руку и можно будет потрогать эти мерцающие маленькие светильники...

Текущая вода

1.

У генерального директора ОАО «Старт» Анатолия Павловича Борисова пропала жена.

Утром, как обычно, дожевывая бутерброд, Анатолий Павлович чмокнул Анну в мягкую розовую щеку, а она, шутя, поцеловала его в нос и обняла за широкие плечи, стараясь не касаться одетого мужа ладонями в муке.

— Какие планы, Нюретта? — уже от двери спросил Борисов, обуваясь в лёгкие светлые туфли. — Никак у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы...

— Однако, ты молодец, Борисов, — помнишь, — восхищённо сказала жена. — Вот вечером и отметим.

Она счастливо засмеялась и добавила:

— Что буду делать? Сейчас отведу Серёжу в садик, да забегу в магазин. И начну готовить себя для вечера с любимым мужем... Или ты опять опоздаешь?

— Нет, сегодня уж постараюсь прибыть вовремя. Правда, китайцы должны приехать на переговоры, да это не помеха. Успею...

Перед тем, как закрыть за собой дверь Борисов ещё раз взглянул на жену, которая вполоборота стояла на кухне, вытирая полотенцем только что вымытую тарелку. Он невольно полюбовался на её тонкую талию, крепкие ноги, длинные густые волосы и, крикнув, с сожалением вышел на лестничную площадку.

Шофёр Геннадий Иосифович, сухощавый человек лет пятидесяти, вёз шефа по городу, а Анатолий Павлович всё ещё не мог избавиться от запахов дома, теплоты губ Анны, её прерывистого дыхания у своего виска. Он вспомнил, как в армии подрался из-за неё с сержантом молдаванином Костей Калистру, как потом их прорабатывали в штабе батальона, и засмеялся. Не зря сражался, как говорится за даму сердца. Дама оказалась не только красивой, но и умной. Была прекрасным экономистом на заводе, ро-

дила Серёжку – голубоглазого бутуза, которого Борисов называл «руководителем» за вечно надутый и независимый нрав. Потом, когда произошло акционирование, и Борисова избрали генеральным директором, Анна по настоянию мужа ушла с работы и занялась домашним хозяйством.

Вечером, перед самым окончанием рабочего дня Борисову на городской телефон позвонила тёща Тамара Степановна.

– Аня с Серёжей у тебя? – спросила она своим густым баритоном.

Получив отрицательный ответ, чертыхнулась:

– Никак не могу дозвониться до дочери: тут такие кофты в магазин завезли, а без неё не могу решиться...

– Гуляют, наверное, – сказал Борисов, – позвоните на сотовый...

Тёщу он не любил за вечное влезание в их семейные дела, желание постоянно давать советы по воспитанию Серёжи.

– Так мобильник тоже не отвечает, – в голосе тёщи послышалось возмущение, – Номер, что ли опять поменяли? Вы хоть сообщайте, когда меняете. Совсем уж меня из своей жизни вычеркнули...

– Ну что вы говорите, мама, – Борисов было начал возмущаться, но Тамара Степановна выключила телефон.

Борисов вызвал машину и поехал домой. На лестничной площадке собрались жильцы, шло шумное обсуждение очередной новости от жилищно-коммунальной службы.

– Палыч, присоединяйся к нам, – явно поддатый сосед дядя Женя махал руками. – Вот Анатолий Павлович во всём разберётся, он у нас не кто-нибудь, а большой начальник...

– Это надо же, чуть ли не втрое тарифы на свет подняли, – кинулись к Борисову женщины. – Что делать, Анатолий Павлович?

– Успокоиться. Может что перепутали. Завтра позвоню, разберусь...

Протискиваясь к двери, он вспомнил совет своего зама Пестрякова: давно пора менять квартиру. Не по чину. Пестряков уже подобрал для семьи Борисова особняк за городом, нашёл деньги,

но Анатолий Павлович всё тянул с переездом – не хотелось бросать квартиру, в которой они с Анной прожили все эти годы, где не так давно сделали ремонт.

Борисов высокий, плотный, стараясь никого не толкнуть, пробрался к двери своей квартиры и нажал на кнопку звонка. Никто не открыл. Анатолий Павлович позвонил снова, а затем прижал ухо к двери.

— Тихо, господа-товарищи! – крикнул дядя Женя, наблюдая за Борисовым. На площадке смолкли: в доме Борисова уважали. И за простоту, и за асфальтированный двор, и за денежную помощь больной дворничихе Марии Семёновне...

Открыв дверь своим ключом, Борисов вошёл в квартиру и, обойдя все комнаты, устало плюхнулся на широкую кровать в спальне. «Где же ты, Анна?». Он еще раз набрал номер мобильного телефона жены, но услышал лишь короткие гудки, а потом механический голос: «Абонент находится вне зоны ...»

Взглянув на круглые позолоченные часы, висевшие на стене спальни, Борисов вышел на лестничную площадку, закрыл дверь и пошёл вниз по лестнице. Геннадий Иосифович дремал за рулём «Тойоты» и вздрогнул, когда Борисов плюхнулся на заднее сидение, громко хлопнув дверцей.

— В детский сад – за Серёжкой...

Сына он забрал последним. Воспитательница Алевтина Георгиевна, полноватая, всегда чему-то улыбающаяся женщина в светлом парике, всплеснула руками:

— Ах, как хорошо – вот и папа! А то мы с Серёжей хотели уже ко мне в гости идти...

Борисов извинился за опоздание, взял сына на руки и понёс на улицу, к машине.

— Всего доброго, Анатолий Павлович! – Улыбающаяся воспитательница с порога кокетливо помахала вслед пухлой рукой...

Безлюдная липовая аллея, по которой он нёс сомлевающего, почти засыпающего Серёжу, тишина, так не присущая этому дворику, усилили обиду Борисова на неизвестно куда запропастившуюся Анну.

Дома её не было. Не появилась она ни на другой день, ни на третий. Ни полиция, ни друзья из спецслужб ничего не смогли узнать о жене, что с ней произошло, куда исчезла – это осталось тайной...

Лишь дядя Женя рассказывал, когда разговор заходил об исчезновении молодой соседки: «Видел, как Анюточка шла в сторону магазина и всё – больше ничего не видел».

2.

... Прошло восемь лет. Борисов продолжал жить с двенадцатилетним сыном в старой квартире. Несколько лет, пока Серёжа требовал ухода, с ними жила тёща, Тамара Степановна. В прошлом году она... вышла замуж за своего одноклассника, отставного полковника, и уехала к нему в Калугу.

Первые годы Анатолий Павлович надеялся, что всё прояснится, каким-то образом станет ясно, куда исчезла жена, почти физически чувствуя, что она жива. Но шло время, и всё оставалось по-прежнему.

Став постарше, Сережа всё чаще с тоской думал о матери. Борисов старался отвлекать его от этих дум. Каждый год ездил с ним то в круиз по Средиземному морю, то в какую-нибудь страну. Были и на Кипре, и в Турции, и на юге Франции.

В начале года врачи обнаружили у Анатолия Павловича неполадки с сердцем. Посоветовали срочно бросить курить и съездить подлечиться в Кавминводы. «Рановато для тридцативосьмилетнего мужчины», – огорчился Борисов, но в конце августа, кое-как закончив неотложные дела на службе, захватив с собой Серёжу, поехал в Ессентуки.

Поселились в vip-номере санатория «Жемчужина Кавказа», и началось лечение. Борисов принимал процедуры, Серёжа ходил в бассейн. По вечерам они гуляли по курортному парку, фотографировались на фоне знаменитой грязелечебницы, в воскресенье съездили в Кисловодск. Но отец замечал, что грусть Сережи не проходит, он терпеливо ждёт, когда закончится курс лечения и они уедут в свой город.

Борисов понял, что надо возвращаться. Тем более отпуск его шёл к концу, приближалась осень, а с ней и школьная пора.

Однажды утром, уладив дела с администрацией и лечащим врачом, Анатолий Павлович собрал вещи, попросил дежурного администратора вызвать такси и вскоре, они с Серёжей приехали на маленький эссентукский вокзал. До поезда было ещё минут сорок и они присели на жёсткие кресла в темноватом зале ожидания. Сережа уткнулся в смартфон, а Анатолий Павлович стал смотреть на большую картину, висевшую на стене. На ней был изображён Лермонтов, во весь опор скачущий на вороной лошади по горной дороге. В отблесках вечерней зари, чуть блестели эполеты. Горы огромными тяжёлыми пятнами наседали на фигуру всадника, словно стараясь раздавить его. Куда скачет великий поэт? Так отчаянно скакал его герой Печорин, стараясь догнать экипаж единственно любимой женщины – княгини Веры...

В купе поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург» Борисов всё ещё думал об увиденной на вокзале картине. И к нему пришла мысль, что все эти годы без Анны он тоже скакал куда-то в неизвестность, а вернее шёл и шёл, стараясь догнать своё былое счастье. На картине догорал закат, уходил день, чувствовалось, что скачущий всадник был встревожен, несчастен, и это ощущение, созданное живописцем, уже давно было знакомо Борисову...

Многие приятели Анатолия Павловича советовали ему жениться, подыскав добрую искреннюю женщину, которая позаботилась бы не только о нём, а прежде всего – о Серёже.

Борисов переводил всё это в шутку, а иногда вопрошал: где они добрые и искренние? Такие на дороге не валяются. Но главное, что сдерживало Борисова – память об Анне, нежелание менять что-то важное в устоявшемся без неё мире, травмировать психику сына.

Он вспомнил, как в первые дни после исчезновения Анны, Серёжа спрашивал:

— А где мама? Когда она приедет?

— Она в командировке и очень занята, – отвечал отец. В такие моменты сердце его начинало ныть.

Когда Серёжа подрос, отцу пришлось всё ему объяснить. Мальчик встретил сообщение без слёз – уже привык жить без мамы, и образ её, видимо, постепенно ускользал из его памяти. Но не сама память. Однажды, когда отец зашёл в комнату Серёжи, собираясь пожелать спокойной ночи, то увидел, как, отвернувшись к стене, мальчик беззвучно плакал. Вздрагивали его маленькие плечи... На столе лежал цветной портрет Анны. Взглянув на него, Борисов вспомнил, как сам сделал этот снимок на берегу реки во время пикника. Анна улыбалась и кричала: «Не надо, не щёлкай – я же не причёсанная...» Но портрет получился удачный. На ветру длинные и густые волосы Анны раскинулись веером, и небо за ней было с набухающими тучами вперемешку с мелкими облаками, а внизу виднелись барашковые волны. Борисов тогда назвал снимок: «Перед грозой». «Перед бедой», – подумал он сейчас и, выйдя за дверь, ещё долго стоял, прислушиваясь к тишине...

За прошедшие годы Борисов, конечно же, встречался с женщинами. Но всё это было второпях, никто не тронул его сердце. Завязались было у него отношения с главным бухгалтером Галиной Станиславовной, молодой жгучей брюнеткой со статной фигурой, высокой грудью и грустными глазами. Его тянуло к ней, но к себе её не приглашал, боялся реакции Серёжи. Однажды, когда Сережа ночевал у бабушки, он всё же привёл Галину домой...

Утром вдруг открылась дверь спальни, и вбежал... Серёжа:

— Папа, мы сегодня поедem в зоопарк? – звонко выпалил сын.

Увидев в кровати рядом с отцом незнакомую женщину, Серёжа резко повернулся и выбежал из комнаты. Как случилось, что Тамара Степановна привезла внука раньше, он так и не понял. Слава Богу, её самой в доме не было...

Проводив Галину Станиславовну, Борисов пошёл в комнату сына. Тот, глядя в окно, сидел на кровати.

— Сынок, ты обиделся на меня? – тихо спросил Анатолий Павлович, садясь рядом.

Серёжа пожал плечами:

— Она что, будет твоей женой?

— Нет, конечно, нет,— заторопился с ответом отец,— Просто мы вместе работаем. В общем, ты уже взрослый парень — должен понять меня... Если думаешь, что я забыл твою маму, то ошибаешься! Но её же нет, Серёжа! Нет! Сыночек мой, ну прости меня...

Серёжа повернувшись к отцу, обнял его за шею. Обнявшись они долго сидели молча на низкой детской кроватке, пока сына не сморил сон.

3.

... Из Эссентуков они приехали поздно вечером. На такси добрались до дома и сразу легли спать. Мальчик быстро уснул, а отец всё думал и думал над своей неудавшейся жизнью. В последние два — три года он почти не вспоминал Анну. Лишь изредка, внезапно проснувшись среди ночи, его мучила уже ставшая привычной тревога. Было ощущение, что не известно где, кто-то его ждёт. Нет Анны, давно умерла мать. Только с ними, Анной и матерью, Борисову было хорошо в жизни... Когда они жили, он ни о чём особенно не задумывался, даже не догадываясь, что есть на свете разрывающая душу тоска. Когда эти две женщины были рядом с ним, ему казалось, что в его жизни будет всегда спокойно, уверенно, цельно. Конечно, случались и тогда тревоги и беды, но все они казались незначительными, временными, сиюминутными...

Борисов вдруг понял, почему так было. Потому, что его, Борисова, любили. И любил он...

На другой день он встал раньше обычного, хотя было воскресенье. Опять пришли вчерашние мысли. Захотелось что-то сделать, чтобы они прошли, пролетели, испарились. Он вдруг подумал: а что если съездить сегодня с Серёжей на родину, в село Котово, где он родился? Всего-то двести километров! Пора, давно пора побывать на могилках отца с матерью, проведать тётку Клаву. Оно вроде и рядом, родное село, да уже который год он никак не мог выбраться из-за бесконечных хлопот на работе...

Часа через полтора они с Серёжей уже катили на своём серебристом «лексусе» по узкой, но довольно хорошей, асфальтированной дороге.

Путь лежал между жёлтых, словно позолоченных после жатвы полей. По-летнему было жарко, хотя август доживал последние дни, в небе уже шелестели журавлиные клинья, а в придорожной лесополосе падали на землю, начинающие иссыхать листья тополей.

Борисов ехал в отцовский дом, в котором жила младшая сестра матери, Клавдия, потерявшая на афганской войне мужа, да так и оставшаяся вдовой. Как ни сватали её мужики – не пошла. То ли не могла забыть своего чёрнобрового гармониста Петьку-танкиста, то ли наловчилась жить одна, думать о себе, о своих близких – сестре и её семействе и – больше ни о ком. Анатолия она любила по-матерински, с самых малых лет возилась с ним, улаживала дела в школе, чем здорово помогала сестре, вечно пропадавшей на молочной ферме.

Клавдию они не застали, но хата была «примкнута» веточкой берёзы, вставленной в металлическую проушину. В комнатах было тихо. Пахло мятой, душицей, зверобоем. Тётка увлеклась сбором лесных трав.

Вскоре пришла и она. С порога крикнула:

– Кто тут без хозяйки командует?

– Здравствуй, тётъ Клав, – вышел в прихожую Анатолий Павлович, и, видя, как меняется в лице пожилая женщина, подхватил её, обнял и, поцеловав в щеку, прижал к груди.

– Толечка, мой родненький, как же ты сподобился-то? – Клавдия присела на некрашеную дубовую лавку, и на глазах её появились слёзы. – Думала уже не увижу тебя никогда, помру тут в одиночестве. Ой, а это кто такой выглядывает?

Вышедший вслед за отцом Серёжа засмутился, потупился.

– Никак Серёженька? – Клавдия сидя обняла мальчика и поцеловала его в макушку, – вы, ребята, извините, я сейчас чуточку посижу и всё приготовлю, буду вас угощать-потчевать...

— Да, не надо беспокоиться,— сказал Анатолий Павлович.— Продукты мы с собой привезли. Серёжа, сходи, принеси из машины наши припасы...

— Ну, а как насчёт картошечки с салом и огурчиками малосольными? — Клавдия Петровна встала и, переваливаясь словно утка, пошла в чулан.— Я ведь помню, что ты любил поесть...

— Против картошки не устою, тем более с салом,— засмеялся Борисов. И когда Серёжа принёс пакет с продуктами сказал:

— Ладно, ты хлопочи, Петровна, а мы на кладбище сходим.

— Сходите, родимые, сходите,— сказала розовощёкая, уже совсем успокоившаяся после внезапной встречи Клавдия.— А потом сразу домой — ждать буду...

Деревенский погост был за дальним прудом, и Анатолий Павлович решил пройти по деревне пешком, чтобы увидеть тропинки детства, знакомые хаты и сарайчики. Но многие улицы были перестроены так, что Борисов с трудом узнавал родное село. На повороте красовался новый кирпичный дом с магазином «Сельхозпродукты». Борисов невольно остановился, стал вспоминать: чье же это владение? И вспомнил: здесь во время его детства стояла деревянная хата совхозного кузнеца Ивана Сергеевича Пчельникова. Вспомнив это, он вспомнил и дочь кузнеца, светлокосую Дарью, свою школьную любовь. Она нравилась Анатолию с первого класса — черноглазая, весёлая, вечная отличница. Он любил её тайно, так и не выказав Дарье своих чувств. Она, конечно, догадывалась об этом, но девочка нравилась всем мальчишкам их класса, и Борисов не хотел быть как все — оттого сторонился Даши. Правда, как-то сунул ей свои стихи про любовь, но она не ответила... Из армии хотел, но так и не решился написать ...

При этом ему почему-то казалось, что она ответила бы, ответила хорошо, но давнишняя, заостенелая гордость не позволила Борисову напомнить о себе... Тем более, что на втором году службы он познакомился с очаровательной дочерью командира батальона Анечкой — дела у них сладились быстро. С ней и приехал после демобилизации в Котово.

Теперь он стоял и вспоминал Дашу. Она ли живёт в этом красивом доме? Во дворе громко залаял пёс. Высокие деревянные ворота, выкрашенные в зелёный цвет, скрипнули, приоткрылись, и Борисов увидел знакомые чёрные глаза.

— Вы к нам? — спросила Даша, выйдя на улицу.— Наверное, из инспекции?

— Нет, мы совсем из другой организации...

4.

Она подняла голову и посмотрела Борисову в глаза. Даша по-прежнему была красива той русской сельской красотой, которая сразу бросается в глаза городскому жителю. Но теперь перед ним стояла не хрупкая девчонка, а взрослая, осанистая женщина.

Она внезапно вдруг обняла Борисова, и, прижавшись к нему всем телом, тихо засмеялась. Серёжа, не ожидавший такого, отвернулся и отошёл в сторону.

— Толик, родненький ты мой.— Даша то ли смеялась, то ли плакала, и Борисов не знал, как и что отвечать на эти слова, также обняв её, и чувствуя как забилося сердце от давно забытого чувства уюта и радости.

Но Даша быстро овладела собой, заметила Серёжу и, обращаясь к мальчику, сказала:

— Учились вместе с папой твоим, так что не бойся, мальчик, у мамы его не отниму...

Они сели на лавочку, вкопанную у забора и начали вспоминать школу, ребят, с кем учились. Серёжа подошёл, сел со стороны отца, но Даша пересела, к мальчику, обняла его и поцеловала в белобрысую голову.

— Похож на тебя, как две капли воды,— засмеялась Даша,— с ним тебе можно без документов куда хочешь проходить...

Узнав, что Борисовы идут на кладбище, она воскликнула:

— А можно с вами? Я тоже хочу могилки тёти Веры и дяди Паши проведать, да и у мамы давно не была.

Подождали, пока Даша сходила в дом переодеться, и дальше пошли втроём. Она рассказала, что после окончания сельхозтехникума вышла замуж за шофёра Вовку Занина, того, что учил-

ся на год старше их. Родилась дочь Алёнка. Вовка занялся фермерством. Дом поставили. Она знала, что он любит её с самого детства, хотя сама по отношению к нему не могла ответить тем же. Почувствовав это, со временем Вовка запил, стал куролесить, чуть было не завалил весь их семейный бизнес...

— Ладно, расскажу после,— сказала Даша — они подходили к кладбищу.

Здесь было тихо, даже торжественно. Памятники и кресты на могилах стояли словно стража. Борисов помнил, где лежат родители, но за последние два года кладбище разрослось и, если бы не Даша, пришлось бы изрядно поплутать.

— Вот сюда за осины надо,— сказала она и первой пошла вперёд. Над могилами родителей разрослись клёны. Нападавшие с них листья завалили памятники, и Борисову пришлось разгребать листья руками, пока не показались две чёрные плиты с именами и годами жизни родителей.

Все трое стояли молча. Дарья поняла, что ей не следует мешать приезжим и пошла по аллее в сторону церковки, к могиле своей матери.

— Вот, Серёжа, здесь похоронены твои дедушка и бабушка,— сказал Анатолий Павлович и почувствовал, как предательские слёзы медленно поползли из глаз.

Серёжа наклонился, положил букет полевых цветов между могилами и вдруг стал вырывать сорную траву, растущую возле плит.

— Это ты правильно делаешь,— сказал отец и присоединился к сыну. Вскоре повилика была полностью вырвана. «Что же это Клавдия Петровна упускает, надо сказать, чтоб пришла сюда с граблями и тяпкой»,— подумал Борисов, но вспомнив, большие ноги тётки, остыл. «Самому надо чаще приезжать, моралист»,— мысленно отругал себя Анатолий Павлович.

Подошла Даша, и все трое пошли к выходу.

— Так как же у тебя дальше-то судьба сложилась? — спросил Борисов.

— Я ж говорю — пить начал Володька. Иногда руку на меня поднимал. Бывало, одумывается, просит прощения, а потом —

опять. В прошлом году вместе с сослуживцем Колькой Цыбиным из Черняховки поехали на Донбасс проведать отца. Отца уже при них убило украинским снарядам, и ребята сразу записались в ополченцы. А ещё через полгода Володька погиб. Из Луганска в Котово приезжали двое военных, вручили мне орден, которым мужа наградили посмертно. Вот и всё...

— И с кем же ты живешь сейчас?

— Живём вдвоём с Алёной, доченькой моей. В делах фермерских батя здорово помогает, он хоть в кузню уже не ходит, но ещё крепкий, хватистый. Дочка в этом году в пятый класс пойдёт. А ты, Серёж? В седьмой? Понятно. Хотя живу не только с дочкой. Дом большой, поэтому, когда потянулись беженцы с Донбасса, взяла на постой две семьи. Обе в колхозе работают. К весне им квартиры обещали, а зимовать, вместе будем. Ничего, люди хорошие, добрые.

Даша вдруг остановилась. Прямо перед ними с пригорка открывалась синяя лента реки.

— Помнишь, Толь, как мы тут всем классом выпускной отмечали? — она улыбнулась, вспоминая это событие.

— Помню,— Борисов вздохнул.— Много воды утекло с тех пор...

— Вода утекла, а память осталась и никуда ей не деться, пока мы живы — сказала Даша и вдруг воскликнула: — А давайте купаться? Я сегодня на кукурузное поле собиралась ехать, поэтому купальный костюм прихватила, чтобы отмыться потом от пыли. Ну как, Серёж?

— Давайте,— мальчик взглянул на отца и, увидев его одобрительный кивок, стал снимать футболку.

Река была неширокая, но стремительная, похожая на горную. Где-то под берегом били ключи, и почти всегда, даже в большую жару, вода была прохладной. В памяти Борисова остался случай, когда от холода свело ноги у одноклассника, восьмилетнего Севки. Севка утонул, и тело его водолазы нашли только на второй день аж в Осиновском водохранилище.

Когда пришли на невысокий, глинистый берег, Серёжа увидел стайку ребятшек своего возраста и с согласия отца побежал знакомиться.

Борисов порадовался, что сын как бы ожил здесь, в Котово, и с этим добрым чувством он присел на траву. Даша опустилась рядом, будто забыв, что идея купаться принадлежала ей.

Вблизи река казалась не такой быстрой. Мерное журчание воды успокаивало, расслабляло. И река, и хаты на взгорье, и треск мотора тракторов, пашущих поле на другой стороне реки, главное – сидящая рядом Даша – всё это на второй, а то и на десятый план отодвинули в душе Борисова тревоги, с которыми он приехал из Ессентуков.

– Пап, а можно переплыть на ту сторону реки? – подбежал разгорячённый Серёжа. – Ребята приглашают...

– Давай, – сказал Анатолий Павлович – зря что ли ты в плавательную секцию ходишь. Только не прыгай головой вниз – река не очень глубокая, а дно каменистое...

– А меня возьмете с собой? – спросила Дарья, поднимаясь.

– Возьмём! – Серёжа кричал уже издали, вприпрыжку подбегая к пацанам, собравшимся на берегу.

5.

... Поздно вечером отец с сыном возвращались в город. Пока ехали, вспоминали, как Серёжа быстрее всех переплыл реку, как тетка Клава охала, увидев оцарапанную о камень коленку Серёжи.

– Клёвая у тебя одноклассница, – сказал сын, развалившись на задних сидениях, – надо же, вместе с нами наперегонки плыла. Но меня не обогнала...

Борисов наблюдал, как плыли ребята и с ними Даша, как в самом конце, когда они с Серёжей вырвались вперёд, Даша чуть ослабила взмахи сильных загорелых рук, и мальчик первым коснулся песчаного берега...

– Понравилась? – Анатолий Петрович вглядывался в ночную дорогу, освещённую огнями фар автомобиля. Ответа он

не получил. На миг обернувшись, увидел, что Серёжа спал, привалившись к мягкой, кожаной спинке дивана.

Борисов вспомнил, как после заплыва Серёжа вместе с деревенскими пацанами убежал ловить удочками рыбу, а они с Дашей, уже переодевшейся за густыми кустами и причесанной, побрели в старую берёзовую рощицу, где прошло их детство. Берёзы выросли, располнели, далеко вверху шум крон был едва слышен под ветром. Шум этот звучал густо, почти торжественно, словно под куполом церковного свода. В церковь они тоже зашли, чтобы поставить свечи за упокой душ своих родителей. Потом шли по тенистой аллее. Аллея была неширокая, заросшая густой травой, справа и слева разрослась акация, и иногда Борисов и Даша касались друг друга плечами.

В двух словах он рассказал о себе, об истории с Анной, о тревоге за сына.

Даша молча слушала, и ему вдруг показалось, что она в этот миг находится далеко-далеко, думая о своём. Но когда Анатолий Павлович замолк, она спросила:

— Как жить-то дальше будешь?

Он пожал плечами. Они как-то сразу вдруг остановились, и Даша, повернувшись к Борисову, сказала:

— А ведь я ждала тебя из армии, хоть и звали не раз замуж. Что-же ты не написал, Толя? Я ведь знаю, нравилась тебе...

Она помолчала, глядя куда-то поверх кустов акаций и, не дождавшись ответа, продолжила:

— Тогда не решился, сейчас не знаешь, вижу, как дальше жить... Ведь мы ещё не старые, Толя! Хотя что это я? В судьи записалась. А сама хороша. Помню, как однажды сунул ты вечером мне стишки свои любовные. Посмеялась. Не понравилось, что без подхода, грубо, показалось, сунул... Хотя жалела потом, стишки те сто раз перечитывала. Да и в армию не пришла проводить, постеснялась. Из-за забора всё высматривала тебя в строю новобранцев, когда в военкомат уводили под гармошку. Эх, гордость наша! Только с годами это понимаешь...

Она опустила голову и стояла перед Борисовым словно ученица у доски, не выучившая уроки. Светлые волосы упали на глаза и напомнили Дашу-школьницу.

Борисов обнял её, и когда она удивлённо посмотрела на него, поцеловал в чуть раскрытые, мягкие губы. Она затихла у него на груди, будто испуганный ребёнок, и вдруг заплакала.

— Поедешь с нами в город? Ко мне поедешь? – слова вышли из него легко, будто давно готовые, чтобы прозвучать.

— А Серёжа? – глухо спросила Даша.

— Мне кажется, ты ему понравилась. Во всяком случае, ты первая женщина, с кем он так откровенничал и веселился...

— Да это его ребятишки развеселили, – Даша подняла голову, улыбнулась и обняла Борисова за шею обеими руками. Затем прижалась губами к его губам, и они долго стояли молча, казалось целую вечность, и обоим было хорошо, сердца их стучали рядом...

Оторвавшись от него, Даша прошептала, словно боясь, что её услышат в осеннем лесу:

— Нет, Толя, так нельзя. Встретились можно сказать, по случаю – и поехали? Так не бывает. Детство давно прошло, родной мой...

— Нет, не прошло, – Борисов опять поцеловал Дарью. – И никогда не пройдёт!

И, вспомнив её предыдущие слова, сказал:

— Воды утекло много, а память о хорошем осталась...

Даша опять пошла рядом, потом встрепенулась и, словно девчонка, побежала по тропинке вниз к реке. Одной бежать ей было просторно, и вскоре, она разгорячённая, с растрёпанными на ветру волосами уже стояла опять на берегу, откуда они ушли полчасика назад.

Борисов подошёл, обнял её и почувствовал, как дрожат её плечи. То ли её так взволновал разговор, то ли всё же замерзла после купания. Анатолий Павлович снял пиджак и накинул его Даше на плечи. Они смотрели на синеватую текущую внизу воду, пока не подбежал весёлый Серёжа и сходу не уткнулся в них, сразу в двоих.

6.

... Чуть позже, после ужина, Борисовы прощались с тёткой Клавой. Она плакала, звала приезжать почаще, и Серёжа сказал:

— Обязательно приедем. Правда, пап?

— Конечно,— ответил Борисов и удивился быстроте и искренности своего ответа. От этого Серёжиного вопроса у него словно включился свет в душе. Яркий, тёплый, долгожданный.

... Затрещал сотовый телефон, лежащий в нише автомобиля. Борисов сбавил скорость, взял телефон в правую руку. Звонила Галина Станиславовна.

— Тебя можно будет сегодня увидеть? – спросила она.

— Мы – за городом,— ответил Борисов,— буду дома ближе к полуночи...

— Я подожду,— Галина отключилась.

В свой двор они въехали, когда всю светила луна и мерцали далёкие звёзды. Выйдя из машины, Борисов начал доставать из багажника банки с соленьями и вареньем – гостинцы от Клавдии Петровны.

— Анатолий Павлович,— окликнул его знакомый женский голос.

На скамейке возле детской площадки сидела Галина Станиславовна. Она встала и подошла к автомобилю.

— Ты извини,— мельком взглянув на спящего в «лексусе» Серёжу, сказала она – но срочно, к завтрашнему утру, нужна твоя подпись на бразильском контракте.

— А что Пестряков? – спросил Борисов,— у него же есть право подписи.

— Контракт серьёзный – нужна твоя,— сказала Галина и грациозным движением вытащила из папки документы. И пока Анатолий Павлович при неоновом свете ночных ламп, наклонившись над капотом, подписывал бумаги, он чувствовал, как она безотрывно смотрит на него сверху вниз.

— Пожалуйста,— он протянул листки Галине и увидел грусть в её красивых глазах, упавший на лоб смоляной локон, который он так любил поправлять, когда они оставались одни...

Ему захотелось сказать ей что-то хорошее, ободрить её, но внутри Борисова жил сегодняшний шумный и счастливый день, в котором не было места этому разговору...

— Ну я пошла? – спросила она.

— Я сейчас подвезу, – засуетился Борисов, – вот Сережу отправлю в квартиру и подвезу.

— Спасибо. Вон за углом такси меня ждёт, – Галина отошла на несколько шагов и остановилась.

— Может мне отпустить такси?, – повернувшись, спросила она после небольшой паузы.

— Нет, Галя, езжай. Ты прости меня, пожалуйста, – ответил Борисов, нажимая на слово «прости». И по этой простой фразе обоим стало многое понятно...

Серёжа открыл дверь автомобиля и, стяхивая с себя сон, опустил ноги, обутые в запылённые кроссовки, на асфальт. Он увидел уходящую со двора Галину Станиславовну, замершего у открытой дверцы отца и, закинув за плечи старый серенький рюкзак, подхватил банку с малиновым вареньем.

— Пошли что ли?

Не дожидаясь ответа, Серёжа двинулся к подъезду. Пошёл уверенно, словно большой, словно не было бесконечного дня в деревне, беготни с пацанами по лесным тропкам, купания в быстрой и прохладной реке...

Серёжа шёл чуть откинув голову, напоминая походку своей матери, и образ Анны мелькнул вдруг в сознании Борисова, возник словно внезапная вспышка сорвавшейся звезды на фоне ночного неба...

Огненная беседа

Лагутин проснулся внезапно, будто кто-то толкнул его в плечо. Открыв глаза, он ничего не увидел – была ночь. Рядом тихо дышала жена, за окном дробно и тяжело стучали колеса поезда – железнодорожные пути лежали всего лишь метрах в восьмидесяти от тётчиной хаты.

«Да, – подумал Лагутин, – стал подзабывать я стуки колёсных пар, свист локомотива – вот и проснулся от этого свиста...»

Когда-то их семья жила здесь, и грохот идущего поезда он почти не замечал. Но вот уже много лет Лагутины живут в далёком от этих мест миллионном городе. Теперь, на недельку-другую приезжая сюда во время отпуска, и Лагутин и его жена Саша испытывают неудобства от близости железной дороги.

«Ладно, потерпим, пусть это будет самая большая беда в моей жизни», – успокаивает себя в темноте Лагутин и переворачивается на другой бок. Но сон не идёт.

В душевной комнате старой деревянной избы он вдруг начал вспоминать молодые годы, проведённые здесь. Много чего было хорошего, не всё, конечно, сбылось, о чём мечталось. Одно время всё пошло как-то юзом. Не получилось стать начальником стройуправления. Потом – история с белозубой секретаршей Зиной, из-за которой пришлось Лагутину вместе с семьёй уезжать из посёлка. Вот и старость уже начала придавливать, от прежних отношений с Сашей остались одни воспоминания, да и детям он не очень-то нужен...

Стараясь не разбудить жену, Лагутин осторожно встаёт и, накинув спортивную майку на худые, сутулые плечи, выходит на улицу. Палисадник залит ярким лунным светом. На старых искривленных яблонях тяжело висят яблоки, и одно из них срывается и гулко стучает по крыше лагутинского «фольксвагена». Жалобно взвизгнула сигнализация.

Лагутин подходит к забору и видит, как огни последнего вагона разбудившего его поезда скрываются за поворотом. Стихает стук колёс, становится тихо, слышно, как в сарае спросонья ворчит петух, в центре посёлка играет магнитола... Лагутин садится на скамью во дворе под яблоней и начинает опять вспоминать те далёкие годы, когда он, двадцатидвухлетний парень, приходил к этому дому.

Обычно он провожал Сашу из клуба. Они долго стояли у забора, задыхаясь от поцелуев. Иногда Лагутин читал Саше стихи Блока, и она, запрокинув голову, слушала его с мягкой ироничной улыбкой. На щеке её с левой стороны появлялась ямочка, которую особенно любил целовать Лагутин.

Однажды вечером, когда уже всюду светили звёзды, на порог вышел отец Саши, Спиридон Григорьевич, пьяно напевая «Ночь коротка, спят облака...» и, считая себя в полном одиночестве, начал журчать прямо с высоко каменного порога. Саша спрятала голову в листьях черёмухи и, сгорая от стыда, беззвучно смеялась. На счастье пошёл поезд, заглушивший стуками колёс всё вокруг. Спиридона Григорьевича давно нет на белом свете. Допился. Хватанул какой-то гадости с мужиками и отдал Богу душу – один из всеё компании... От этих воспоминаний, несмотря на духоту, Лагутин поёжился.

Возле забора под старой черёмухой остановились двое мужиков. Стали закуривать. Невидимый в тени яблонь Лагутин хорошо видел обоих. Один, высокий, худощавый, в соломенной шляпе, похожий по фигуре на Лагутина, другой – пониже, с брюшком и с всколоченной гривой волос.

– Здорово мы гульнули, а, Сень? – высокий икнул и, чуть покачнувшись, зажёг спичку, прикурил.

– Нормально, – хрипловато отозвался приятель, – у Мишки всегда так: любит свой день рожденья отмечать – мёдом не корми.

– Слушай, Сень, а сколько ему стукнуло?

– Да вроде сорок пять или сорок шесть, – собеседник замаялся.

– Во мы даём, – гоготнул высокий, – завалились без подарка, да ещё и прошляпили, сколько лет он отмечает. Неудобно как-то получилось.

– Да ладно тебе переживать, – колыхнулась взлохмаченная голова. – Погудели и погудели. У Мишки не убудет, как-никак бизнесмен – магазин у него. Это не то, что мы с тобой – голь перекатная...

– Ну, это ты брось, – обиделся высокий, – я на маслозаводе первый слесарь, да и ты у шофёров в почёте...

– Так-то оно так, – согласился Семён, – да карман от этого тяжелее не становится, от того и пилит меня Манька, когда полочку приношу...

– Эх, и у меня такая же история! Случай, Сень, а ты это... боишься смерти? – вдруг невпопад спросил человек в соломенной шляпе.

– Ну ты даёшь! – Семён нетвёрдо повернулся и хлопнул приятеля по плечу, – с чего это философию разводишь?

– Нет, ты скажи...

– Раньше боялся, а теперь не боюсь.

– Да ну? Это почему же? Ты что, Сень, переродился что ли, аль в верующие подался?

– Причём тут переродился? И никуда я не подался: кто нас с тобой, матерщинников, в веру возьмёт!

– Так чего ж тогда? – покачнулась соломенная шляпа, – ведь её, смерти, все боятся. И я боюсь, и Мишка, и тёща моя, Анна Евлампиевна, хоть ей сто лет в субботу. А ты нет? Лапшу на уши не вешай...

– А что мне её бояться? – Семён опёрся одной рукой о ствол черёмухи, а другую выбросил вверх, в сторону звёздного неба и раздумчиво продолжил: – Там – маманя моя с батькой, там – Василий Макарович Шукшин, Высоцкий, Валерка Харламов, хоккеист такой был, если помнишь... Там и любовь моя первая, Нюрка Хромченкова, которую муж прибил в позапрошлом году. Так вот, – Семён вновь закурил и, с силой выдохнув струю дыма, продолжил, – думаю, раз они на небесах, то чего нам-то бояться? Ведь компания там – хо-ро-ша-я...

Семён замолчал, продолжая смотреть в небо. Потом кудлатая голова дёрнулась – Лагутину показалось, что Семён смахнул слезу. Но тут же, взяв приятеля под руку, он сказал:

– Ладно, Коль, хватит о ерунде молотить! Давай лучше спём!

– Только тихо, – нетрезво отозвался Коля, – а то спят все. Лады?

– Лады, давай тихо...

Они начали:

*По Дону гуляет,
По Дону гуляет,
По Дону гуляет
Казак молодой...*

Но, несмотря на уговор, голоса их вскоре окрепли, и мужики затащили от души. Обнявшись, пошли дальше по улице, голоса их становились всё глуше и глуше, а потом и совсем смолкли. В ночном палисаде осталась лишь гулкая лунная тишина.

Лагутин вернулся в хату и лёг рядом с Сашей. Она дышала ровно, чуть слышно, и на миг а темноте ему показалось, что ей не шестой десяток, а как прежде девятнадцать лет...

«Господи, как хорошо, что она есть у меня!», – вдруг с нежностью подумал Лагутин и осторожно положил руку на плечо Саши.

Он стал думать о подслушанной беседе. А как бы он сам ответил на Колин вопрос, такой актуальный на закате жизни? Ответа не находилось.

Незаметно Лагутин уснул и ему приснилась лукавая мордашка младшей внучки Поленьки, перемазанная вишнёвым вареньем...

Топольная аллея

1.

Прошло много лет, а Виктор Андреевич Зенков нет-нет да и вспоминал ту встречу на вечернем вокзале небольшого города, особенно, когда приезжал сюда по служебным делам.

Тогда, много лет назад, он аспирант местного пединститута, опоздал на электричку и не смог уехать в свой яблочный рай-центр Малинино.

Возвращаться в город было не к чему, и Зенков остался здесь, на вокзале, ожидать раннего утреннего поезда.

Бросив рюкзак на до блеска отполированную пассажирами скамью в зале ожидания, Зенков плюхнулся рядом, раздумывая: постараться сразу уснуть или пойти пошататься по перрону.

Был вечер, слабые солнечные лучи прощально просвечивали сквозь редковатый строй пристанционных тополей, и из-за лесополосы всё смелее подступал сумрак – предвестник ночи.

Зенков побрёл вдоль стоящего «под парами» состава «Донецк-Москва». Пассажиры уже зашли в вагоны, лишь возле одного из них стояла маленькая женщина. Когда Зенков подошёл чуть ближе, увидел, что она очень молода, её утончённое бледное лицо было напряжено, и она неотрывно смотрела в незакрытый ещё тамбур, смотрела на кого-то, находящегося там, неотрывно порываясь что-то сказать, но тут вышла плотная розовощёкая проводница, собирающаяся захлопнуть тяжелую вагонную дверь. Женщина на перроне взмахнула рукой и крикнула:

— Почему ты не берешь меня с собой?

— Мы обо всём договорились, – загудел в ответ одновременно и басистый и бархатный мужской голос.

Тот, кто говорил, видимо стоял за спиной у проводницы, и она недовольно дёрнула широким плечом:

— Пассажир, заходите в купе!

Зенков не видел говорившего мужчину, но уже ненавидел его странный, раздвоенный голос, его спокойствие, которым он словно холодным душем обливал вытянувшуюся у вагона женщину.

— Почему ты уезжаешь, ведь у тебя еще два дня командировки? – снова крикнула она тонким, срывающимся голосом.

— Перестань, Ольга! Не рви себе, да и мне душу. Я люблю тебя, только тебя и обязательно приеду, скоро приеду...– бархат в голосе говорившего преобладал, он, наверное, махнул ей рукой, но Зенков это не видел, а видел лишь её, бросившуюся к вагону, но тут звонко захлопнулась железная дверь, и состав, дёрнувшись, пополз мимо вокзала.

Поезд ушёл, а она всё стояла и стояла на том же месте, безжизненно опустив руки, и серая косынка, словно плеть висела в правой руке.

Но вот, очнувшись, женщина медленно повернулась и побрела в сторону вокзала. Какой-то пожилой, полный мужчина деревенского вида с корзиной, наполненной яблоками, быстро шёл ей навстречу. Столкнувшись с ним, женщина упала.

2.

Зенков подбежал, помог подняться, сверкнув глазами на оторопело стоящего со своей корзиной мужика. Тот поставил ношу на перрон, собрал раскатившиеся яблоки и стал оправдываться.

— Ладно уж, идите, без вас разберёмся,– резко сказал Зенков,– что стали, свет заслонили?

Он сказал это слишком громко, запальчиво, и оба – и мужчина и женщина, потирающая ушибленное колено, с удивлением посмотрели на него.

Зенков, поддерживая Ольгу (он теперь знал, как её зовут) под руку, привёл её в зал ожидания и усадил на ту же скамейку, на которой совсем недавно лежал его рюкзак.

— Как вы себя чувствуете,– спросил он, садясь рядом,– может – в медпункт?

Девушка отрицательно покачала головой, но больше ничего не сказала, продолжая потирать колено и смотреть в широкое вокзальное окно, в ту сторону, куда ушёл московский поезд.

В окне всё явственнее обозначался вечер, станционные фонари освещали молодые тополя. Первые робкие звёзды появились на темноватом небе, но уже где-то рядом была светлая часть ночного неба, вот-вот должна была появиться луна, чтобы начать хозяйничать над вокзалом, над всем маленьким древним городом.

— Вам помочь? — опять спросил Зенков, всё ещё толком не разглядев Ольгу. Она повернула к нему лицо, и он увидел большие карие глаза, каштановые волосы, рассыпанные по смуглому лбу. Увидел, какая она ладная, молодая.

Он обрадовался её красоте, её молодости и этому взгляду — не испуганному, а спокойному, внимательному.

— Простите, я доставила вам неудобства, — сказала она и попыталась улыбнуться, — беспокоиться обо мне не надо. Я сейчас посижу и уеду в город. А вы куда едете?

Он объяснил, она кивнула, потом встала и, подойдя к окну, долго стояла молча. Блеклые листья парашютиками опускались на землю, на пакгаузы, на темнеющие на запасных путях вагоны.

В зале ожидания людей было мало. Кроме Зенкова и Ольги на скамье в углу похрапывал знакомый мужчина, недалеко от него ворковала стайка девчонок, потом и они ушли.

— Вас проводить до остановки? — нарушил тишину Зенков.

— Зачем? Куда? Мне и ехать-то некуда, — она не вздохнула, а словно выдохнула, вытолкала из себя сгусток душевной боли. — Тётка уверена, что я уехала в Москву и ушла куда-нибудь, а ключей у меня нет...

— Тогда вам ничего не остаётся, как составить мне компанию, — сказал Зенков и усмехнулся.

— Вам? Компанию? — она повернулась к собеседнику всем телом и внимательно посмотрела ему в глаза. — А вы мне не хотите составить компанию?

— Всегда пожалуйста, — Зенков ответил весело, браво, но уже в следующую секунду пожалел об этом. Ольга продолжала без улыбки смотреть на него, хотя мысли её были далеко — он это чувствовал.

— Давайте погуляем по аллее...

— Давайте,— он удивился её такой простой просьбе, пропустил вперёд и вышел следом из высоких дверей вокзала.

3.

Они двинулись вдоль железнодорожных путей. Вечер ещё не превратился в ночь, сопротивляясь сумраку, надвигающемуся на маленький вокзал, на стоящие рядом домики, в которых на верное жили семьи железнодорожников.

За строем тополей опускалась багровая заря, всё окрашивая в особый, экзотический свет, всегда волнующий Зенкова, вызывающий то ли душевную тоску по чему-то несбывшемуся, то ли неуверенность перед тем, что должно случится в его жизни.

Среди тополей росла одинокая искривлённая береза, и Ольга направилась к ней. Боком присев на изгиб берёзы, она чуть приподняла голову, закрыла рукой глаза и замерла в таком положении. Зенков стоял рядом, не зная, что ему делать, что говорить.

— А я знаю, как вас зовут,— сказал он.

— Откуда? — спросила она, не открывая глаза.

Он рассказал.

— Понятно,— она вздохнула,— а мне совершенно безразлично, как вас величают...

Но она тут же открыла глаза и вдруг схватила его за руку и потянула к себе. От неожиданности он невольно покачнулся и чуть было не упал на неё, успев опереться о берёзовый ствол.

Ольга вскочила и вдруг прижалась к Зенкову, обеими руками обняла за шею и затихла у него на груди, словно птица, спрятавшаяся от непогоды.

От этих прикосновений у Зенкова закружилась голова и задрожало сердце, вдруг по-особому застучавшее, как бы живущее отдельно от него, Зенкова.

На миг она подняла голову, и он увидел раскрытые навстречу ему губы, и тут же прильнул к ним своими губами, как бы сливаясь с Ольгой, растворяясь в ней. Её теплота вошла в него, и он уже весь был во власти этого прикосновения, этих минут безумия, которые случаются между мужчиной и женщиной...

Он ничего не смог вспомнить потом кроме необыкновенной нежности к ней, внезапно вспыхнувшего огня в своём сердце и ещё... шороха сухих осенних листьев, насыпавшихся под одинокой берёзой.

Он помнил, как они лежали на этих листьях и он укрывал её своей курткой, как Ольга, оторвавшись от Зенкова, то ли плакала, то ли смеялась. Он вновь обнял её, заслоня от лёгкого ветерка, прилетевшего из-за тополиной аллеи.

— Я ведь правда понравилась тебе? – Спросила она, закрывая ему рот ещё одним поцелуем и мешая ответить.

— Правда, – выдохнул Зенков, когда она вновь легла рядом и стала смотреть вверх, на звёзды, только появившиеся в своей невообразимой вышине.

Ему показалось, она уснула, забылась, но вдруг вскочила и вскрикнула:

— Отвернись, быстрее!

Он перевернулся и лёг на грудь, и пока она приводила себя в порядок, не знал, что будет дальше, о чём они будут сейчас говорить. Но, закончив свои дела, она присела рядом, стала гладить его волосы.

— Ты извини меня, я не знаю, что со мной произошло, зачем всё это случилось...

— Ты тоже прости меня, – сказал Зенков, вставая, – воспользовался, понимаешь, чужим горем...

Он вновь хотел обнять её, но её последние слова словно выстроили преграду между ними, и он стоял перед этой преградой, не решаясь её нарушить.

— Ты не извиняйся, – сказала Ольга, – спасибо, что ты сейчас рядом, именно ты – хороший человек, я это чувствую, что хороший, а мог бы оказаться кто-то другой, плохой, и это было бы ещё ужаснее...

Ольга поправила серую косынку на шее и быстро пошла в сторону вокзала. В зале ожидания они вновь сели на ту же скамью. Опять перед ними было широкое окно, словно экран, где показывали жизнь ночного перрона. Вскоре стало совсем темно, под светом фонарей резче обозначились предметы за окном.

Знакомый мужик, расстегнув жёлтый ватник и растянувшись на скамье, безмятежно спал, свесив поросшую светлыми волосами большую руку. Опрокинутая корзина валялась рядом, а яркие краснобокие яблоки, словно пасхальные яйца, раскатились по полу.

— Я всё же поеду домой,— вдруг буднично сказала Ольга и положила руку на ладонь Зенкова.

— Я провожу,— он быстро поднялся.

4.

На остановке было безлюдно. Автобусы уже ходили реже, и они долго стояли под шиферным навесом.

Ольга тесно прижалась к Виктору, но сначала это прикосновение было другим, не таким, как там, в кленовой аллее. Казалось, каждый думал о своём. Но когда она, насмотревшись на звёздное небо, повернула лицо к нему и её широко распахнутые глаза упёрлись в его глаза, он внезапно опять ощутил чувство нежности к ней.

Зенков обнял Ольгу за плечи, прижал к груди, и она вдруг как несколькими минутами раньше прижалась к нему губами, а потом спрятала лицо у него на груди.

— Ты вправду полюбил меня? — спросила она тихо, как ему показалось, испуганно.

— Да, с тех секунд, как увидел,— Зенков почувствовал, как снова потеплело у него на сердце после её вопроса, как быстро тает страх, что встреча эта — неправдоподобная, невзоправдашняя, словно мираж...

Да, он уже любил эту маленькую, внезапно появившуюся в его жизни женщину. Там, в тополиной аллее, она успела рассказать о недавней смерти родителей, ушедших один за другим, о неудачном замужестве, о грубости тётки, уговорившей её продать отцовский дом в деревне и забравшей деньги себе. Теперь она жила у неё на положении квартирантки.

Ольга была несчастна, неустроенна, но это её состояние уже было не только её, но и его, Зенкова состоянием, и он начал её

успокаивать и обещать, что сделает всё, чтобы она не была несчастной и неустроенной.

Она повела головой, грустно улыбнулась, соглашаясь с ним, но было что-то недоговоренное, недорешённое. И Зенков понял, что – уехавший в Москву человек.

– Возникнет ли он вновь? – прямо спросил Виктор.

– Нет, не возникнет, – ответила она и вновь поцеловала его страстно, откровенно, как целует давно знакомая женщина. – Ты меня простишь за него?

Он ничего не ответил, лишь крепче сжал её плечи, обтянутые серым драповым пальто.

– Мы будем вместе, всегда, – сказал он через некоторое время. – Ты мне веришь?

– Верю, милый, конечно, верю, – отозвалась она, но в это мгновение какая-то печальная непрозвучавшая, но осязаемая нотка возникла и погасла в его сознании.

Под тусклым светом ночного фонаря он вынул из кармана куртки затёртый, старый блокнот и огрызком карандаша нацарапал на листке её адрес, который она продиктовала.

Наконец подъехал автобус. Пассажиров в нём было мало, и Ольга, пройдя по салону, выбрала место у окна, напротив стоящего на земле Зенкова. Она улыбнулась ему и помахала рукой.

– Я обязательно приеду, – сказал Зенков, и она не услышала, а поняла эту фразу по его губам.

– Я приеду, – опять сказал он, слыша, как захлопываются автобусные двери – гармошки.

– Я буду ждать, милый, – сказала она, не отрывая от него глаз, и он тоже по губам понял, её слова, улыбнулся и на прощание поднял вверх обе руки.

Автобус уполз за поворот, а Зенков ещё долго стоял на пустой остановке, почти физически продолжая ощущать и нежность к уехавшей Ольге, и горечь прощания с ней, и необъяснимую, щемящую на сердце тревогу.

5.

Возвратившись домой, в Малинино, Зенков всё время думал о неожиданной встрече, до мелочей вспоминая её, сто раз проигрывая в уме случившееся. Как не старался, но быстро в город он выехать не смог – заболел учитель физики, и Зенкову кроме своих пришлось вести и его уроки. Он начал считать дни до осенних каникул. И когда они наступили, сразу поехал к Ольге.

Эта поездка ему запомнилась от начала и до конца. В утренней электричке сидели бабы с сумками и ведрами, наполненными фруктами. Они ехали на городской рынок. В вагоне пахло свежей антоновкой, штрифелем, грушами.

Зенков сидел между говорливыми кумушками, но шум не мешал ему, мысль работала чётко. Он думал, как наконец-то обрадуется мать, когда он привезёт Ольгу к ним в тихий дом, как хлопочет она на увитой плющом веранде.

Выходя из поезда на вокзале, он не спеша оглядел ещё более поредевшую, почти напрочь избавившуюся от листьев топилиную аллею, заметил кривую берёзу и заспешил к автобусной остановке.

В этом городке он всё знал, – за время своего студенчества где только не был, и потому уверенно нашёл улицу Северную, вплотную примыкающую к городскому саду, в котором по вечерам чуть ли не каждый день играл духовой оркестр.

Зенков подошёл к дому № 10, увидел крашенный металлический забор, узкую деревянную, слегка покосившуюся калитку. На окнах дома были резные ставни, но краска в некоторых местах сползла, обнажив тёмные прогалины.

Зенков со скрипом открыл калитку и шагнул во двор. Он был почти пуст, лишь рядом с невысоким крыльцом красовалась цветочная клумба. Цветы были уже поникшие, но некоторые ещё красовались, сохраняя в себе частицу уходящего лета. Видно, за клумбой тщательно ухаживали.

Взбежав по жалобно скрипнувшим под ним ступенькам, Зенков нажал на кнопку звонка. Было тихо, казалось в доме – никого. Он громко постучал кулаком в дверь.

— Кто там? – раздался хриловатый женский голос.

— Добрый день! Я – к Ольге. Можно её увидеть?

— Кто вы? – Он почувствовал, как там, за дверью женщина затягивается сигаретой.

— Друг.

— Друг? Знаем мы этих друзей, – захохотал засов, и дверь приоткрылась. Осанистая женщина средних лет с крашеными рыжими волосами, появилась на пороге. Запахивая плюшевый халат, она на миг раскрылась, сверкнув тяжёлыми обнажёнными грудями.

— Так чего тебе? – она держала одной рукой сигарету, другой придерживала полы халата и смотрела поверх головы Зенкова.

— Я уже сказал. Мне – Ольгу.

Она помолчала, потом оценивающе окинула взглядом Зенкова.

— Вы что не слышите? Где Ольга? Она тут живёт? Может я ошибся адресом?

— Тут, тут, – сказала хозяйка, уже не спуская с Зенкова глаз. – Тут она живёт, милок. Вернее, жила. Уехала твоя Ольга в Москву. Дня три как уехала. Как прибыл её Николай Семёнович, так и уехала. А что – хороший человек. Вежливый, культурный, добрый – целый ящик шампанского привёз. Две бутылки ещё осталось. Хочешь, пойдём – допьём!

— Как уехала? Почему? – остолбенело спрашивал Зенков, и сердце его стремительно падало вглубь тела. – Она же обещала ... ждать.

— Ладно, не горячись. Вижу, малый ты дельный, расскажу тебе всё рядком. – Хозяйка прислонилась спиной к открытой двери, опять затянувшись сигаретой. – Она ведь с ним, Николаем-то, ещё с месяц назад познакомилась. На семинаре каком-то. В гостинице у него жила с неделю. Он сначала бортанул её, а теперь возвратился, забрал. Обещал жениться. Паспорт чистый показал – говорит, с прежней своей – задница об задницу. Выпили тут с ним, посидели у нас на кухне. Насовсем, говорит, увожу я вашу Ольгу, Елизавета Тихоновна. Меня Елизаветой Тихоновной зовут. А тебя?

Зенков молча слушал, повернув голову в сторону, где внизу под домами, стоящими на взгорье, извилистая синеватая лента реки медленно и равнодушно текла в сторону собора.

— Так ты слушаешь, паря? — Елизавета Тихоновна чихнула и давно истлевшая сигарета вывалилась из её полноватых вывернутых губ.— Что тебе ещё рассказать? Спасибо мне Николай Семёнович сказал за Оленькино воспитание, денег дал. Хороший человек! А эта,— хозяйка сузила и так маленькие глаза,— Олька-то, даже руку на прощанье не подала. Неблагодарная!

Тётка замолчала, вновь кинула взгляд на Зенкова и сказала:

— А что ты так расстроился? У тебя этих Олек ещё вагон будет и маленькая тележка — вон ты какой статный, прямо Штирлиц вылитый...

Она пошловато засмеялась, пригладила рукой волосы и опять перепахнула халат.

— А то зашёл бы. Шампанским угощу, чаю попьём...

Зенков резко повернулся и словно слепой шагнул с крыльца, угодив левой ногой в цветочную клумбу. Из двери, видя это, грязно заругалась Елизавета Тихоновна.

Виктор плохо помнил, как шёл к автобусной остановке, как ехал на вокзал, как брал билет на электричку.

Лишь в вагоне, когда за окном побежала знакомая аллея и мелькнула одинокая березка, он опомнился. Мыслей не было, сердце давила тоска-кручина. Потом, когда уже сошёл в Малинино и брёл мимо своей школы, мимо большого красивого Дворца культуры, откуда слышалась репетиция хора, ему стало легче: боль внутри стала уменьшаться, таять, но совсем не ушла. Зенков вдруг остро понял, как впервые безжалостно, наотмашь ударила его судьба...

6.

Многие годы он ничего не знал об Ольге. Жизнь его текла степенно, как планировал и даже лучше. После окончания аспирантуры защитил кандидатскую, лет семь директорствовал в районном лицее, потом его перевели в область, где Зенков три года

поработав заместителем регионального министра общего и профессионального образования, возглавил это ведомство. Поговаривали, что губернатор присматривается к Зенкову, как к своему потенциальному заместителю...

Он стал профессором, доктором наук. Много ездил по области, бывал за границей, в Москве, Питере, проводил семинары и совещания, встречался со множеством людей. Как-то заехал в городок своей юности. В стенах когда-то пединститута, а теперь университета прочитал большую лекцию, заслушал доклады директоров нескольких школ и лицеев...

Когда мероприятие закончилось, Зенков пошёл к гардеробу, чтобы получить своё пальто. Приняв его от невысокой пожилой женщины, у широкого зеркала стал одеваться.

— А я вас узнала,— сказала гардеробщица, наблюдая за ним,— вон вы каким большим начальником стали! И не подумала бы...

Повернув голову в сторону говорившей, Зенков узнал её. Это была Елизавета Тихоновна.

Она сильно постарела, стала ещё приземистее, раздалась в бёдрах и волосы её были теперь не крашеными, а редкими, седыми. Старческие прожилки украшали лицо когда-то разбитной розовощёкой женщины.

— Как поживает ваша племянница? — спросил Зенков, продолжая смотреть в зеркало и застёгивая верхнюю пуговицу пальто.

— Так нет Оленьки,— на глазах старухи появились слёзы,— давно нет. Восемь лет как померла...

— Что же с ней случилось,— уже одетый Зенков подошёл поближе к гардеробной стойке.

— Вышло-то не очень хорошо. Не повезло девке. Что-то не заладилось у них с Николаем Семёновичем. В скорости как поругались, ушла она от него. На какой-то завод устроилась, в общежитии жила, потом за вахтёра вышла, забеременела. А при родах, значит, и умерла сердешная,— тётка заплакала,— и ребёночек — тоже. Сама я, правда, всё это не видела, она мне вообще не писала, а вот соседка моя нынешняя, Серафима, про все эти

дела и рассказала – работала вместе с Олечкой там, на заводе... Так что нету племянницы, жалко кровинушку!

Зенков хотел в сердцах напомнить собеседнице о тех обидах, которые нанесла Ольге, она, родная тётка, но в этот момент к гардеробу подошла группа участников семинара, и Елизавета Тихоновна кинулась их обслуживать.

Зенков медленно шёл по широкому коридору университета к выходу, всё ещё не отойдя от разговора с гардеробщицей. Перед ним словно живые стояли глаза Ольги – той, далёкой, молодой, встреченной на вокзале. Остро заныло сердце, словно вспоминая то состояние, которое ему пришлось пережить много лет назад.

В кармане итальянского костюма-тройки запел телефон. Звонила жена.

– Бельчик мой, – заворковала она, – смотри не останься там на ночь. – Знаю, сколько у тебя в этом городе друзей-товарищей. Зазовут, напоят, приведут в нерабочее состояние. Все они таковы, пока ты при должности, а что случись – и здороваться перестанут...

– Ты мне для этого позвонила? – спросил Зенков. – И сколько можно просить не называть меня «бельчик мой»? – Он почти кричал в трубку, и там, в большой квартире областного центра жена замолчала, словно поперхнувшись. Зенков уже подумал, что она выключила телефон, но тут же услышал её рыдания.

– Как тебе не стыдно так со мной разговаривать? Что ты злишься? Я всю жизнь тебе отдала, а теперь и слова не могу сказать! Извини за беспокойство. Просто хотела сообщить, что сын с семьей из Лондона возвращается. Ты же знаешь, как он ценит твоё внимание, как внучка по тебе скучает...

– Ладно, – примирительно сказал Зенков, – конечно, приеду. И к самолёту успею...

У выхода из университета его догнал ректор, юркий, подвижный, но уже в солидных годах человек, и стал приглашать на ужин. Зенков поблагодарил и отказался, сославшись на занятость.

Выйдя из здания университета, он глубоко вдохнул осеннюю свежесть и сел в серебристый «Форд».

— Домой,— скомандовал он водителю.

7.

Путь лежал мимо старого величественного собора, автором которого был тот же архитектор, который построил и несколько башен московского Кремля. Когда приблизились тяжёлые, полуоткрытые двери собора, Виктор Андреевич попросил притормозить, и вышел.

Вновь как и тогда, во время встречи с Ольгой, была осень, на асфальтированных дорожках, тянувшихся вдоль собора, ветер гонял жёлтые листья, сорвавшиеся с высоких берез.

Зенков вошёл во внутрь храма. Там заканчивалась служба. И когда она закончилась и дьяки унесли все атрибуты, люди стали потихоньку покидать затемнённое помещение, Зенков наклонился к маленькой старушке в чёрном платке и шёпотом спросил, где можно поставить свечку за упокой души.

Она отвела его к нужному месту, и он увидел, как много свечей уже горит перед изображением распятого Христа.

Свеча, которую он купил в церковном киоске, разгоралась, медленно, неторопливо, колеблясь и потрескивая. Зенков испугался, что она потухнет, но через две-три секунды огонь свечи качнулся и ярко вспыхнул, сравнявшись с теми огнями, которые горели рядом.

Виктор Андреевич вырос атеистом, но в последнее время всё больше думал о религии, чувствуя её душой. И сейчас, не спуская глаз с яркого белого огня свечи, ему захотелось, чтобы Ольга, там, в небытие, почувствовала его, ещё живущего на грешной земле, поняла, что пока он жив, будет помнить её и благодарить за то, что случилась в его жизни их первая и последняя встреча.

Жизнь Калерии

1.

Калерия жила на втором этаже старого кирпичного дома, стоящего на краю рабочего посёлка. Из узкого, словно бойница, окна её комнаты можно было увидеть колхозное поле, ежегодно разное – то пшеничное, то кукурузное, но чаще люцерновое.

Ребёнком Калерия любила бегать по едва видимой полевой стёжке и, разбежавшись, стремительно падать в густую упругую люцерну.

Тогда ей казалось, что эта окраина посёлка с несколькими осанистыми двухэтажными дореволюционными домами, словно отяжелевшими от времени, поле и берёзовая роща, видневшаяся за ним, и есть её мир. Так и было. Но время шло, промелькнули детство, юность, на закате была и молодость, а Калерия всё продолжала жить в темноватой двухкомнатной квартире с большой матерью. Год назад, измучившая своей болезнью и себя и дочь, мать умерла.

Придя с кладбища, Калерия села к окну и долго смотрела на то место, где когда-то было поле, а теперь не по дням, а по часам вырастали стены торгового центра. Стройка уже загораживала всё, к чему привыкла Калерия: и поле, и рощу и часть неба.

Калерия сидела у окна, безжизненно опустив руки на колени, не зная, как теперь жить без матери. Перед глазами вновь и вновь возникал её образ, вечно суетившейся, с тихим испуганным голосом. Весь свой недолгий век мать прожила в этой старой квартире, оставшейся ей от отца-железнодорожника. Мать и сама много лет работала дежурной по станции. Нередко, идя на дежурство, брала с собой Калерию, которую не с кем было оставить – муж, отец Калерии, ушёл от неё перед самыми родами... Замуж больше мать не выходила.

Чувства Калерии растворились в навалившемся горе, хотя уход матери был неизбежен, о чём предупреждали врачи.

Калерия отошла от окна и села на маленькую скамеечку, где мать любила сидеть с пальцами, и тонким, почти детским голосом, напевать с юности полюбившиеся ей песни. Что чаще всего она пела:

*Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту...*

Калерия, до этого мига не проронившая ни слезинки, вдруг заплакала громко, навзрыд...

Уже лёжа в своей комнате на неразобранной кровати, Калерия подумала о том, как мало людей пришло проститься с её матерью. И о том, что завтра надо будет идти на работу – в бухгалтерию стеклотарного завода. Это не обрадовало Калерию. А чему радоваться-то? На работе её считали старомодной, недотёпой, в общем – «белой вороной».

Она и впрямь, словно на машине времени прибыла из какого-нибудь семидесятого года прошлого века: и говорила с деревенским акцентом, и одевалась не по моде, и заступиться за себя толком не могла.

— Калюша, ну что ты такая? – иногда не выдерживала её соседка по кабинету, эффектная Ангелина. – Когда же ты жить-то начнёшь? Познакомилась бы с кем-нибудь – не старуха ещё чай... Или всё Колю своего никак забыть не можешь?

В речи подруги звучали одни вопросы. Все они были риторическими. Да, так живёт, да никак не забывается Коля – его синие глаза, нежные сильные руки, слегка пахнущие соляркой, мальчишеский голос, порывистое дыхание возле её лица...

Они познакомились на том самом люцерновом поле, где юная Калерия лежала на густой траве и смотрела в высокое, еще не застроенное никакими зданиями безоблачное небо. Синевфиолетовое поле убаюкивало Калерию лёгким шелестом люцерновых стеблей, словно тихой песней матери, когда она укладывала на ночь маленькую Калю в деревянной кроватке.

— Эй, девушка, нельзя так прятаться – наехать мог, – услышала она вдруг рядом с собой звонкий голос. К ней подошёл и те-

перь насмешливо глядел на неё сверху вниз стройный невысокий парень, водитель колёсного трактора, к которому была прицеплена косилка.

— Ой! – Калерия встrepенулась, села и одернула лёгкое ситцевое платье – Задумалась, не заметила... Извините.

— Нет, не извиняю,– тракторист был явно в хорошем настроении.– Я вас практически спас, так что с вас причитается...

— Что причитается? – растерялась Калерия и покраснела.

— С учётом того, что я порядочный человек и убеждённый трезвенник, никаких корыстных желаний не имею. А вот если вы сегодня вечером пойдёте со мной в клуб на танцы, то дело можно уладить...

И он так светло улыбнулся, что она поверила ему, почувствовала, что ничего плохого он ей не сделает.

Потом, по прошествии нескольких лет, вспоминая эту первую встречу, Калерия так и не могла понять, почему она сразу поверила ему, пошла и на танцы, и в кино, и ещё куда-то, куда Коля водил её.

Месяца через полтора Коля, человек прямой, без всяких-яких, позвал её замуж. Мать, узнав об этом, порадовалась: наконец-то её Каля будет пристроена, а может, чем Бог не шутит, она и внуков понянчить успеет...

2.

С приходом осени обильно падали листья клёнов, и, когда они шли в загс подавать заявление по старой аллее, несколько бронзово-красных, словно специально разрисованных листьев опустились на кудрявую голову Коли, застряли в волосах, и он, потрогав их рукой, засмеялся:

— Вот и корона на голове. Так что я – король, а ты, естественно,– королева.

И крепко поцеловал Калерию, на миг остановив её. Она вырвалась, испуганно оглядываясь:

— Ты что, кругом же люди...

— Хорошо, когда кругом – люди, а не звери,– Коля опять засмеялся, и она успокоившись, покорно пошла рядом.

Коля и Каля. «Судьба»,– подумала она о схожести имён.

Странно, но потом, через много лет, Калерия никак не могла вспомнить их последнюю встречу. То ли он проводил её до навесного моста, то ли – до палисадника, где росли молодые березки, посаженные во время субботника старшеклассниками местной школы. Школа была новая, светлая, стёкла её широких окон отражали яркий утренний свет, слепили Калерию, и она плохо видела лицо Николая. Вот это запомнилось, а всё остальное выветрилось из памяти, как бы стёрлось, растворилось в горестных мыслях и тоске по несостоявшемуся счастью.

3.

Колю хоронили пасмурным днём. Глядя, как двое немолодых мужчин с одутловатыми морщинистыми лицами начинают широкими грабарками бросать влажную землю на гроб, она думала почему-то о матери, ожидающей её дома, и ей было стыдно перед ней, что не получилось того, что мать ждала... Пожениться Коля и Каля не успели. Через неделю после подачи заявления в загс, у самого её дома Колю сбил на жигулях-шестёрке пьяный поселковый пацан Жека.

Коля умер не сразу. В больнице после операции он открыл глаза, но ничего сказать не мог. Лишь смотрел на Калерию, которую ненадолго пустили к нему. Она сидела молча, без ощущения страха и беды, не веря в страшное. Она гладила его руку, лежащую поверх байкового одеяла, пыталась улыбнуться, но вдруг увидела, как маленькая блестящая слеза, словно бусинка, выкатилась из краешка левого глаза Коли и поползла по бледной щеке. И Калерия со страхом поняла: Коля прощается с ней...

4.

Теперь Калерии было уже тридцать шесть лет. После Коли у неё никого не было, хотя мужчины обращали на неё внимание: несмотря на свою старомодность, она не утратила женского обаяния, была по-девичьи стройна, с правильными чертами лица, с ямочкой на правой щеке, когда улыбалась, и тихим голосом, за которым угадывалась ненаигранная человеческая скромность.

Были и провожания, и походы на танцы. Но, когда дело доходило, до объятий, Калерия отстранялась, ссылаясь на всё, на что можно сослаться, и быстро уходила... Образ Коли не отпускал её, словно Коля был жив и лишь на время отъехал в соседний город...

Долго вокруг Калерии ходил главбух Константин Иванович, крупный, молодящийся мужчина, лет сорока пяти с красивой сидящей шевелюрой. Несколько раз в конце рабочего дня он заходил в кабинет, где работала Калерия, как обычно допоздна, в очередной раз, отпустив пораньше Ангелину по её просьбе.

Константин Иванович долго сидел молча, глядя на свою сотрудницу. Она терялась, краснела. Такие встречи были для неё пыткой. Иногда главбух говорил Калерии ласковые, как ему казалось, слова, но в основном речь его перетекала в жалобы на судьбу, на рассказы о неладах с женой, безобразиях взрослеющего сына.

Как-то Калерия не выдержала и спросила: зачем он это всё ей рассказывает? Константин Иванович заюлил, не смог толком ответить, но на другой вечер, когда он предложил подвезти её домой, а она согласилась, главбух признался, что давно не равнодушен к Калерии, что готов на всё, лишь бы они были вместе...

«Тойота» подъехала к дому Калерии и остановилась. Константин Иванович, заглушив мотор, стал ждать ответа на своё признание. Калерия сидела рядом с ним в полутёмном салоне автомобиля, и ей вдруг стало так тяжело и тоскливо, словно только что случилась какая-то беда, и она беззвучно заплакала.

Константин Иванович, поняв это по-своему, порывисто обнял Калерию, большими тёплыми руками, прижал к себе и хотел поцеловать. И тут она словно очнулась. Резко оттолкнув главбуха, выскочила из автомобиля и, громко захлопнув дверцу, быстро пошла к подъезду...

5.

Она привыкла к одиночеству. Из подруг у неё была лишь Ангелина, да и то потому, что работали в одном кабинете. Ангелина относилась к ней сколь участливо, столь и насмешливо. Они были

из разных миров. Их дружба многих удивляла. Что нашла в этом «синем чулке» Калерии остроумная красавица, постоянная участница модных тусовок Ангелина – никто понять не мог. Калерия знала ответ, чувствовала, что дружба эта нужна больше Ангелине. Рядом с Калерией та становилась проще, откровеннее, с ней, как старая шкура со змеи, сползала позолота гламура, и Ангелина начинала вспоминать детство, юность, первую любовь, не очень счастливую в общем-то долю, что выпала ей...

Но потом приходила реальность повседневности. Ангелине звонили друзья, она наскоро отпрашивалась у Константина Ивановича, предупреждала Калерию и уходила раньше положенного времени с работы, а по утрам нередко опаздывала... Усевшись за свой стол, стоящий у окна, долго молчала, искоса посматривая на Калерию, усмехалась:

— Ну что, монашка ты наша, осуждаешь? Ты на себя погляди. У тебя-то, что хорошего в жизни?

Иногда Ангелина в порыве откровения признавалась, что все эти гулянки она скоро бросит, начнёт новую жизнь, как следует займётся воспитанием сына. И тут же звала Калерию на очередную тусовку «отдохнуть душой». Калерия отказывалась.

Но вскоре увидеть мир Ангелины, побывать в нём ей всё же пришлось. Повод был весомый. Ангелина в третий раз собралась замуж, и в красивом ресторане, расположенном в центре посёлка, должна была состояться свадьба.

6.

Калерию Ангелина пригласила чуть ли не первой, и та пришла. Пришла слишком рано, в зале ресторана ещё только сдвигали столы и расставляли стулья с высокими изогнутыми спинками. Коренастый лысоватый распорядитель удивлённо посмотрел на Калерию, одиноко приткнувшуюся на диване в уголке.

Ей стало стыдно. И тут она «дала в штангу», как любила говорить Ангелина о чьей-либо неудаче. Калерия встала и пошла на улицу. Знакомый палисадник, где они много лет назад гуляли с Колей, было не узнать: он разросся, деревья постригли. Вокруг появилось много новых домов и красивых магазинов, и там, где

они шли в загс, стоял большой и красивый автосалон с иностранной вывеской.

Она редко бывала в центре посёлка, который всё больше переростал в городок, и теперь шла будто по незнакомому месту. Не было уже ни кленовой аллеи, ни берёз, посаженных школьниками.

В ресторане было шумно, гостей собралось много, и это не понравилось Калерии. «Господи, – думала она, сидя среди гостей, – и оглядывая заставленные закусками и бутылками столы, – зачем Ангелина ходит в нашу зачуханную бухгалтерию, если может так отмечать свою свадьбу?»

Калерии было неуютно сидеть среди шумных людей, и она затосковала, изредка поглядывая в центр застолья, где восседала величественная Ангелина с женихом. Калерия отвлеклась и не заметила, как та подошла и, присев рядом, прошептала в ухо:

– Ну что ты, горе моё луковое? Опять что-то не так? Что хмуришься? Посмотри, сколько мужиков! А ну перестань грустить, – Ангелина притопнула каблуком, – ты хоть выпила?

И, увидев пустой бокал возле подруги, доверху наполнила его красным вином.

– Давай за мою счастливую жизнь! – Ангелина обняла Калерию обнажённой до плеч рукой и поцеловала в щёку.

Они выпили, и хмель быстро ударил в голову. Калерии стало весело, и она почувствовала, как посветлело вдруг в зале. Подняв голову, увидела резные люстры в голубом орнаменте, и смех стоявшей напротив молодой женщины в тёмно-синем декольтированном платье показался ей переливом лесных колокольчиков, которые она слышала в детстве, гуляя в берёзовой роще.

– Ну вот, видишь, как здорово! – Ангелина встала, чтобы уйти к жениху, – Каля, лапочка, живи легче, плюнь на всё, что томит душу... Вон Женька Руднев стоит – мужчина деловой, с деньгами, правда, два раза женатый. Да и ты не девочка. Прислать?

Калерия пожала плечами. Женька подошёл, присел напротив Калерии, попытался увлечь её разговором, пригласил на танец, но, чувствуя холодность партнёрши, нашёл повод вежливо уйти за другой стол, где во всю властвовало свадебное веселье и уже

замеченная ею блондинка в тёмно-синем декольтированном платье звонко смеялась, запрокинув стриженую голову.

Пока шла свадьба, Ангелина ещё несколько раз обходила гостей, приближалась и к подруге по работе, чокалась, пригубляя вино в хрустальном бокале.

Калерия видела, что, несмотря на веселье, глаза Ангелины были грустными. Наверное, она уже думала о предстоящей семейной жизни, которую надо начинать в третий раз...

Однажды, после пресловутых выкриков «Горько!», Ангелина вдруг поднялась, крикнула, чтобы выключили магнитофонную музыку и запела сильным красивым голосом:

Калина красная,

Калина вызрела.

Я у милёночка

Характер вызнала...

Все подхватили, не удержалась и Калерия, чувствуя, как уже не от вина становится теплей на сердце, а рядом сидящие люди, опять показались милыми, добрыми, участливыми...

7.

Когда стали расходиться, Ангелина вновь подошла к подруге вместе с двумя мужчинами. Полноватый, слегка нетрезвый с акkuratной лысиной жених и высокий светловолосый парень, чем-то неуловимо похожий на Ангелину.

— Вот она, моя дорогая подруга,— сказала невеста и тяжело плюхнулась на соседний стул,— прошу любить и жаловать...

— Наконец-то видим живую легенду,— жених полуобнял Калерию так, что та сжалась, и чмокнул её в щёку,— про вас Геля мне все уши прожужжала: «а что на это скажет Каля», «А как бы сделала Каля»...

Он громко засмеялся, и Ангелина дёрнула его за руку. Новоиспечённый муж замолк и, пробормотав «мерси», пошёл к выходу кого-то провожать из гостей.

— Что ж, и любить и жаловать готов! — молодой человек улыбнулся, и на его правой щеке появилась ямочка. «Как у меня»,— подумала Калерия.

— Ну-ну, ты, Казанова, помолчи,— сказала Ангелина, поднимаясь со стула и вновь становясь красивой и величественной,— знакомься, Каля,— мой отпрыск от первого брака под наименованием Тимур. Так папа, дагестанец, назвал. С ними, мужиками, разве поспоришь...

— А вовсе и не похож на дагестанца,— сказала Калерия и вдруг неожиданно для себя провела рукой по светлой шевелюре парня. Тимур опять улыбнулся и поцеловал руку Калерии.

— Ты вот что, Казанова,— Ангелина слегка хлопнула ладонью по спине сына,— проводи-ка тетю Калю домой, раз не нашла она себе провожатого. Ночь уже, мало ли... Да и делать тебе нечего — Катька твоя по Риму разгуливает...

— Лина, не надо, я сама дойду,— засуетилась Калерия, вставая из-за стола и чувствуя слабость в ногах — зачем человека тревожить?

— Какой он человек! — Мать засмеялась и любовно обняла сына за плечи,— он у меня ещё маленький и глупый... Выполняй задание, стервец!

— Всегда готов! — «Стервец» щёлкнул каблуками и пионерски приложил ко лбу правую руку. «Видимо, в кино видел»,— подумала Калерия и вздохнула. Ей не хотелось идти домой, возвращаться в своё одиночество, не хотелось расставаться с Ангелиной, которую издали жестами подзывал муж, стоящий в компании друзей.

Калерия попыталась снова отказаться от провожатого, но подхваченная Тимуром под руку, покорно пошла рядом с ним к выходу из ресторана...

8.

Ночная улица была пустынна. Луна светила с молчаливой мощью, её серебристо-пятнистая краюха висела низко, казалось, стоит протянуть руку и светило можно потрогать...

Где-то недалеко просвистел электровоз, и какая-то птица, громко шелестя крыльями, резко взлетела с крыши водокачки, испугав Калерию, и опустила в глубине старых тёмных дворов.

В этот миг Калерия невольно прижалась к Тимур и он, плотнее и мягче взял её под руку и не отпуская, пока они не пришли туда, где она жила.

— Вот это у вас крепость! – воскликнул Тимур, входя в тень широкого кирпичного дома. В наступившей темноте, он слегка замедлил шаг, стараясь разглядеть узкую дорожку, по которой каждый день ходила Калерия.

Пока шли по улице, Тимур шутил, рассказывал о поездке их компании на Байкал, что-то смешное вспомнил о маме, но Калерия, то ли от выпитого, то ли от тоски, вдруг пришедшей к ней после ухода из ресторана, почти не слышала его. Она радовалась за Ангелину, но в душе была пустота. Может она завидует подруге? Мысль эта в какой-то степени была видимо правдивой, и Калерии стало стыдно за эту мысль. Она вдруг пожалела, что пошла на свадьбу – что-то сдвинулось в её душе, нарушилось, закачалось...

— Так что, пришли? – спросил Тимур.

Они стояли возле подъезда, и он всё не выпускал её руку.

— Пришли, – Калерия высвободила локоть из цепких рук парня и пошла к двери. И пока она шла, почувствовала, что ей очень одиноко здесь, у подъезда, что не хочется уходить от этого мальчика, его бархатного голоса и тёплых рук. Она подивилась этому ощущению, никогда не испытанному ею раньше.

— Осторожненько, там темно, – почти шепотом сказал Тимур. И в шепоте этом почувствовала Калерия искреннюю теплоту, которую она не чувствовала от мужчин со времен их отношений с Колей.

— Проводи тогда до квартиры, – не оборачиваясь, сказала Калерия.

И, когда он, подскочив, вновь взял её под руку, и тепло его тела как бы вошло в неё, у Калерии закружилась голова. Она не помнила, как они, тесно прижавшись друг к другу, шли вверх по каменной лестнице, как долго открывала она дверь, как Тимур, перехватив у неё ключи, открыл сам и почти внёс её в узкую прихожую...

9.

Она проснулась от шума дождя, капли которого стучали по металлическому отливу с окна.

Рассвет уже вызрел, но было пасмурно, и где-то там, за берёзовой рощей сверкнула молния, потом прозвучал глуховатый раскат грома, и дождь пошёл настойчивее, ускоряя барабанную дробь по оцинкованной поверхности.

Рядом с Калерией, на её кровати широко откинув правую руку, лежал Тимур. Его худое смуглое тело под лёгкой простыней было похоже на тело большой птицы. «Господи, что я сделала! – Калерия, сжала голову ладонями. – Что же теперь будет? Что скажет Ангелина, если узнает обо всём?»

Она вспомнила прошедшую ночь. Несмотря на выпитое вино, она помнила всё, что происходило, и всё это казалось ей сном, но сном приятным, даже радостным и оттого сейчас ей стало еще больше стыдно за всё случившееся.

Она долго смотрела на спящего юношу, любуясь им, в то же время, почти физически, ощущая как стремительно уходит от неё молодость...

– Тима, тебе пора, – Калерия положила руку на его обнажённую грудь.

– Куда спешить? – Тимур с закрытыми глазами улыбнулся, поцеловав ладонь Калерии. – Спасибо тебе – мне было очень хорошо. Ты – настоящая...

– Шалава? – перебивая его, спросила она.

– Настоящая женщина, – Тимур привстал и обнял Калерию, – никогда бы не подумал, что почти ровесница моей матери – девственница...

– А ну, вставай, – словно обожженная вскрикнула Калерия, отбросив руки Тимура, – одевайся и уходи! Приключение закончено!

– Не, не уйду. Мне и здесь хорошо, – сказал Тимур и так крепко обнял Калерию, что она не могла пошевелиться, чувствуя на своей шее его горячие быстрые губы...

10.

Ближе к полудню, когда прекратился дождь, и солнце начало царствовать над миром, раскинув свои лучи над бывшим колхозным полем, над стройкой и берёзовой рощей за ней, Калерия накинула лёгкое платье и вышла на улицу. Было воскресенье, и ей не надо было никуда спешить. Железнодорожный посёлок, уже слившийся с городом, жил обычной жизнью, но ей показалось, что всё-таки нет, не обычной. Что-то изменилось. И старые вязы во дворе, казалось, она увидела впервые: один рос изогнутым, словно турецкий ятаган, а на вершине второго чернело грачиное гнездо. Калерия никогда раньше не замечала этих деталей...

Она перешла дорогу, миновала стройку и вышла в поле. Кое-где еще росла люцерна, хотя её давно здесь не сеяли. Островки сине-фиолетовой травы напомнили о прошлом, о том времени, когда она встретила Колю.

Калерия нашла островок погуще и навзничь легла на зелёный ковёр, нагретый лучами солнца и высохший после дождя. Высоко в небе медленно двигались облака, и их обычное сто раз виденное движение успокоило Калерию, вытолкало из груди тревогу, не покидавшую её в последние часы.

Она закрыла глаза, но облака продолжали плыть, теперь воображаемые, но такие же медленные. Ей показалось, что где-то недалеко работает трактор с косилкой и мальчишеский голос сейчас окликнет её, как много лет назад. Звук то приближался, то затихал, и она напряжённо угадывала его, пока не поняла, что это работает какая-то машина на стройке.

Потом она заснула, и ей приснился человек, неразличимый издали, бегущий по полю к ней, Калерии, – то ли Коля, то ли Тимур...

Несмотря на бабье лето, подул прохладный ветер, опять заморосил мелкий дождь. Она открыла глаза. Вместе с уходящим за тучу солнцем уходило спокойствие, и она вновь вспомнила, что с ней случилось ночью. Вспомнила ухмылку уходящего утром Тимура – уверенную улыбку победителя, и заплакала.

Она лежала на траве, и лицо её было мокрым и от дождя, и от солёных слёз, которые катились из глаз Калерии и сползали на остывающую от лета землю...

Журавли вернутся...

На другой день после похорон сына Иван Петрович Гвоздев пришел на наряд. Его заместитель Олег Александрович, плотный, крутолобый блондин, увидев входящего в кабинет директора со-вхоза, проворно вскочил и уступил место за столом.

Бригадиры докладывали про вспашку зяби, дела на ферме, но Иван ничего не слышал. В голосе стоял гул похоронного марша, плачущие голоса, надрывный крик жены... Он понял, что пришел зря. Не надо было сегодня идти на работу. Вон как удивились люди, увидев директора.

Иван встал из-за стола и тяжело пошел к выходу. В напряженной тишине было слышно, как тикают на стене стилизованные под ручные огромные металлические часы. Тронув ручку двери, Гвоздев обернулся:

— Простите меня, продолжай, Олег...

Выйдя из конторы, Иван сел за руль своего зеленого «уазика» и поехал домой. Там никого не было, пустым казался и двор, где обычно жена возилась по хозяйству. Клавдия и младший, теперь единственный сын Генка, ушли на могилу Андрея. Иван тоже засобирился туда: побрился, переоделся, делая все механически. Как на ходулях сошел с высокого деревянного крыльца и внезапно остановился посреди двора.

Прямо на него темным проемом широко открытых дверей глядел гараж. У стены стоял мотоцикл Андрея, на руле которого висела потерянная джинсовая кепка. Бензобак был открыт, крышка лежала на сиденье водителя, и казалось, что Андрей куда-то на минуту отошел и сейчас вернется, заведет мотоцикл и умчится по станичной улице...

«Сынок мой дорогой, прости меня,— прошептал Гвоздев,— виноват я в твоей смерти. Я, я... Сволочь я!»

Он захлеб зарыдал и, привалившись спиной к холодной с ночи кирпичной стене дома, медленно осел на асфальтированную дорожку.

Да, он виноват. В памяти возникло лицо Сергея Сергеевича во время их последней встречи в конторе. Сергей Сергеевич сидел перед ним в новом модном костюме, от него шел запах дорогого одеколona, и Гвоздев удивился: раньше его бывший наставник одевался совсем по-другому – в полувоенный френч, потертую кожаную куртку, офицерские галифе.

По привычке теребя хохолок на лысеющей крупной голове, Сергей Сергеевич сказал:

— Ну что, Ваня, надо бы решить вопросик-то... Выручай. Вспомни, сколько я тебе добра сделал.

— Помню. Все помню. Только вот понять не могу, почему вы так изменились, Сергей Сергеевич. Что с вами произошло?

— Исповеди не будет. Подпишешь бумагу?

— Неужели вы не понимаете, что если подпишу, то сотни людей на полгода без зарплаты останутся? Вы хоть об этом подумали?

— Ну вот что, молод ты еще меня учить, – внезапно сверкнул глазами из-под безбрового лба Сергей Сергеевич, но тут же понизил голос: – Ты не горячись, Иван Петрович. Я же учил тебя сначала взвешивать свои действия. Скажу так: у меня выхода нет, но и у тебя тоже. Или подмахнешь бумагу, или... будем мы с тобой страдать оба вместе.

— Я прошу вас выйти из кабинета и больше здесь не появляться. И не забудьте написать заявление об уходе из совхоза, – Иван еле сдержался, чтобы не наговорить еще более резких слов, и крикнул в микрофон селектора:

— Нина, пусть, кто ждет, заходит...

— Ну что ж, – Сергей Сергеевич приподнялся, поправил галстук и уже от двери выдохнул: – Ты об этом разговоре еще вспомнишь. Я тебя, щенок, по стенке-то размажу!

Угрозе тогда Иван особого значения не придавал. Тревога кольнула, конечно, сердце, но тут же растаяла. Нет, не мог и предположить Гвоздев, что решится на самое страшное человек, которо-

му он беспрекословно верил и почитал чуть ли не как отца родного...

А через неделю все и случилось. Было раннее утро. Иван Гвоздев уже ушел в контору, Клавдия перед выгоном в стадо доила в хлеву корову. Генка убежал в школу. В доме оставался Андрей. Он только что собрался в гараж, чтобы на мотоцикле отправиться на занятия в сельхозинститут, расположенный в соседнем поселке, где когда-то учился и отец. Внезапно вошедший в дом убийца выстрелил Андрею, видимо, сначала в грудь, потом в голову...

Из-за забора слышались всхлипывания и отвлекли Ивана Гвоздева от тяжелых мыслей. Он приподнялся и пошел к штакетнику. В соседнем дворе за дубовым столом сидела Саша. Уронив лицо на белые скрещенные руки, девушка навзрыд плакала. Иван вспомнил, что вчера она шла за гробом молча, лишь бледность щек и темные круги под глазами говорили о том, что было у нее на сердце.

Иван постеснялся тревожить Сашу и опять отошел к стене дома. Вот здесь, во дворе, за двое суток до своей гибели Андрей, смущенно потупив глаза, сказал отцу, что все у них с соседкой Санькой по серьезному. Одним словом, решили пожениться. И, почти не дыша, ждал ответа.

— Ну что ж,— помолчав, сказал тогда Гвоздев.— По-серьезному так по-серьезному. Александру мы все знаем, уважаем, обстоятельная девушка. А впрочем, я, сынок, на год раньше тебя семьей обзавелся...

Андрей вскинул русую, с мягкими льняными волосами голову и радостно улыбнулся, напомнив Ивану светом голубых глаз молодую Клавдию...

В небе слышались шелестящие звуки. Иван Гвоздев поднял голову и увидел клин журавлей, медленно и величаво уплывающий в сторону сосновой рощицы.

Птицы летели над осенними полями его, Гвоздева, совхоза. Над только что вспаханной зябью, над бахчами, мастерскими, свинофермой...

«Господи,— застонал Иван,— все я сейчас отдал бы, все, что вижу, будь только жив Андрюшка. Нет, не вернуть сына, не вернуть!».

Это слово «не вернуть» как ножом полоснуло по сердцу. Иван почувствовал, как кольнуло в груди и потемнело в глазах. Почти ошупью он вернулся в комнату, нашарил на подоконнике белый кружок валидола и сунул его под язык.

Отлежавшись, он все же приехал на могилу сына. Клавдия сидела на вытоптанной траве возле свежего холмика, безжизненно опустив руки на привалившегося к ней Генку. Иван поправил слегка покосившийся, грубовато сколоченный деревянный крест и пошел к жене.

— Памятник тут поставим, какой следует,— сказал Гвоздев.

Жена молчала, словно не замечая мужа и не слыша его слов.

— Ладно, Клань, ладно, что ж теперь,— он хотел погладить черную, с едва видимой проседью голову жены, но она вдруг отстранилась и снизу вверх бросила взгляд, будто уколола:

— А ведь это ты, Ваня, виноват в Андрюшкиной смерти-то. Ты...

Повалившись на траву, без слез и рыданий (видно, уже не было сил плакать) затихла, словно уставшая после игр маленькая девочка или подстреленная на взлете птица...

Иван быстро повернулся и почти побежал к «уазу». Сел за руль и поехал. Куда? Он не знал. Лишь увидев ворота своей усадьбы, удивился: так быстро приехал.

В прихожей он долго осматривался, будто впервые видя свой собственный дом. Вот здесь, возле шифоньера, и убили Андрея. Следы крови кто-то уже тщательно смыл, и на крашенном суриком деревянном полу остались лишь светлые пятна.

Взгляд Гвоздева уперся в ружье, висящее на стене. Иван снял двустволку, достал из шкафа патроны. Разомкнув ружье, вставил один, потом другой.

«Ну что ж, за все надо платить»,— мелькнула давно известная Ивану мысль. Он перевернул ружье стволом вверх и начал расшнуровывать ботинок на правой ноге.

И вдруг перед ним на миг возникло красноватое, усмешливое лицо Сергея Сергеевича. «А с ним-то как быть? – вдруг обожгло Ивана, – вот так уйти, а он, убийца сына, останется?»

Гвоздев почувствовал, как все предметы в комнате вдруг встали на свои места. Он вышел из дома и направился к машине. Открыв заднюю дверь, бросил на сиденье ружье, сел за руль и завел двигатель.

Все его движения были теперь точны и расчетливы. Минут через пятнадцать Гвоздев уже катил по хутору, где жил Сергей Сергеевич. По едва различимой, заросшей бурьяном дороге он подъехал к зарослям можжевельника и дикой яблони, заглушил мотор. Прижимая ружье к правому боку, пошел по влажной пахнущей польню высокoй траве.

Заросли подходили вплотную к саду Сергея Сергеевича, и, почти не опасаясь, что его увидят, Иван быстро шагал вперед.

Вскоре он уже стоял у новой, остро пахнущей хвоей деревянной ограды. Вспомнив, что днем овчарка Марта сидит на привязи, без опаски перемахнул через плотно сбитые доски.

Иван хорошо знал усадьбу Сергея Сергеевича – расположение дорожек и палисадника. Через минуту он оказался в густой вишневой аллее. Деревья еще были одеты в коричневато-зеленые платья листвы и поэтому надежно скрывали Гвоздева.

Прямо перед ним был вход в дом. Особняк, чем-то неуловимо похожий на хозяина, стоял основательно, крепко, светясь серебром новой оцинкованной крыши. Гвоздев с усмешкой вспомнил, как подписывал накладную Сергею Сергеевичу на получение этого дефицитного железа.

В саду было тихо, усадьба казалась безжизненной. Лишь воробьи егозились на дорожке сада. Но невдалеке под навесом стояла темно-синяя «Вольво», и Гвоздев понял, что встреча с Сергеем Сергеевичем обязательно состоится...

Пока он стоял и вслушивался в шепот листьев, услужливая память как бы прокрутила события пятнадцатилетней давности. Тогда Сергей Сергеевич, директор этого совхоза, и взял к себе на должность главного агронома выпускника сельхозинститута Ивана Гвоздева. А вскоре назначил своим заместителем. Три года

назад, уходя на пенсию, Сергей Сергеевич сказал на общем собрании:

— Никому кроме Гвоздева, совхоз я бы не доверил. Конечно, решать вам, но мое мнение такое...

Гвоздева избрали единогласно. А через год, съездив в Москву к старшему сыну, Сергей Сергеевич пришел с предложением создать и возглавить коммерческую службу хозяйства. Гвоздев обрадовался: опыт и пробивной характер бывшего директора помогут выжить в штормовом рыночном море...

Однако, вскоре все обернулось совсем не так, как предполагал Иван. Нередко теперь замечал он крутых парней, входящих и выходящих из кабинета Сергея Сергеевича. Дивился: что они – инкубаторские, что ли? Все бритоголовые, с широко развернутыми плечами, обтянутые фирменными майками и куртками. Поначалу всему этому Гвоздев не придавал значения: мало ли кто как выглядит. Но слухи о неблагоприятных делах Сергея Сергеевича стали доходить до него все чаще.

Однажды тот сам зашел в кабинет директора. Долго объяснял сложности своей работы, жаловался на обстоятельства, а потом откровенно сказал:

— Обходят на повороте молодые волки, Ваня. Слыхивал я в одном месте, включили мне «счетчик». Так что выручай, брат. Выход один – подпиши те бумаги, о которых я тебе уже говорил, и будет дело в шляпе...

— А ответьте сначала, Сергей Сергеевич, на такой вопрос. Почему до сих пор нет отчета о продаже подсолнечника? И новая «Вольво», дом сыну, магазины в городе – откуда это все у вас всего за год?

По забегавшим маленьким глазкам Сергея Сергеевича Гвоздев понял: все правда, верно судачат люди.

... За невеселыми мыслями Гвоздев не заметил, как тот, кого он ждал, выйдя из дома, опустил в кресло-качалку неподалеку от смородиновых кустов. Он сел спиной к Гвоздеву, развернул газету, но через мгновение вдруг резко обернулся и посмотрел прямо в глаза нежданному гостю. Взгляд его сорвался вниз и прилип к ружью.

— Ты что, Иван Петрович. Убить хочешь? Зачем? Не я это — Андрея... Зря ты, друзья ведь мы, верь мне...

Газета выскользнула из рук Сергея Сергеевича и парашютом опустилась на землю. Хозяин усадьбы смотрел на Ивана не мигая, но по белому, словно накрахмаленному лицу уже катились слезы, челюсть дрожала, и его вдавленное в кресло-качалку, мешковато осевшее и странно уменьшившееся тело, казалось уже неживым.

— Ты, Сергеич, ты все натворил,— сказал Иван и удивился своему спокойствию, хотя собственные слова показались ему чужими, звучащими как бы со стороны,— Сейчас ты мне заплатишь за сына...

Гвоздев взвел курки.

— Нет, не стреляй, Ванюша,— Сергей Сергеевич схватил себя за хохолок,— не надо, прошу тебя. Андрей хорошим был мальчиком, я его любил, как своего. В шутку просто было сказано, да не так меня поняли — сволочи, волки, гады... А я не хотел ничего плохого! Да мы с тобой сговоримся, сладимся. Ох как сладимся! Сто тысяч зеленых, нет двести тысяч — тебе. Сегодня, сейчас... Ваня!

«Мразь,— подумал Гвоздев, поднимая ружье на уровень глаз,— и как это не мог понять его столько лет?»

— Ну не надо, ну прости меня, прости,— отчаянно, фальцетом, закричал Сергей Сергеевич, сползая с кресла коленями на землю и закрывая лицо руками,— ну есть же суд, в конце концов...

— Деда, деда, что ты там ищешь, не ежика?

Девчушка лет четырех, рыжеволосая с огромным белым бантом выбежала из дома.

— Ежика, Машенька, конечно ежика, мое солнышко,— Сергей Сергеевич обнял внучку и прижался к ней мокрым, плачущим почти невидимым из-за банта лицом.

Иван сплюнул на кудрявые головы смородиновых кустов и опустил ружье. Повернувшись, он медленно, как бы нехотя, пошел к выходу со двора.

На хуторской улице, залитой не жарким уже солнцем, остановился. Сразу за околицей, в нескольких метрах от Гвоздева, на-

чиналось поле. Только что вспаханная зябь дышала осенней свежестью, от нее веяло спокойствием, которое не нарушил и слепой дождь, внезапно засеребренный из-за невысоких туч...

Высоко над полем стройным клином с переливчатым курлыканьем небо пересекала очередная стая улетающих к югу журавлей.

Гвоздев глубоко вдохнул запах земли и подумал о том, что осенью птицы летят к теплым местам, чтобы выжить, а с весенними днями вернуться и опять радоваться солнцу. Птицы ценят жизнь.

И еще он подумал о веснушчатой, похожей на маленькое солнце девочке с белым смешным бантом, которая, сама не ведая того, спасла жизнь своему деду и вывела из оцепенения истрадавшуюся за эти дни душу Гвоздева...

Всё ещё сбудется

Алла подошла и остановилась рядом. Глубоко засунув руки в карманы бордового пальто и потупив взгляд, она несколько раз провела носком высокого сапога по бурому от мартовской влаги снегу. Молчали.

— И ты ничего не хочешь сказать? — спросил Сашка и затаил дыхание.

Алла ничего не говорила, лишь вскинула голову, и ее густые, светлые волосы откинулись в сторону, а большие карие глаза насмешливо уперлись Сашке прямо в душу...

Два часа назад он случайно увидел ее в окне большого, нового ресторана. Алла сидела за круглым столом в компании каких-то парней и, оттопырив розовый мизинец, держала в руках узкую рюмку с красным вином.

Сердце Сашки дрогнуло и забилось, потому что один из сидевших за столом, плотный блондин, привстал и наклонился к Алле. Его большая стриженная и оттого похожая на дыню голова с оттопыренными ушами почти коснулась светлых локонов, которые так любил целовать Сашка...

Сашка любил март, его тяжелое сырое дыхание, которое как бы отгоняло зиму и предвещало приход весны. Но сегодня он не чувствовал ни этого дыхания, не слышал журчания маленьких, еще несмелых ручейков, не видел ярких звезд на темнеющем небе. Жизнь Сашки как бы сузилась до размеров этого грязноватого сквера, где он долго, казалось, целую вечность ждал, пока Алла выйдет из ресторана со своими приятелями. Когда они все гурьбой вывалились на низкое крыльцо, громко разговаривая и смеясь, Сашка подошел и позвал Аллу. К нему с решительным видом повернулись двое рослых парней, но она отстранила их и, пообещав, что «сейчас будет», пошла навстречу Сашке.

Теперь они стояли, ничего не говоря друг другу. Алла — оттого, что ждала, а Сашка вдруг почувствовал, что все, о чем он спро-

сит – будет пустым звуком. Ей просто неинтересно с ним говорить. Но Алла вдруг заговорила. Голос, когда-то нежный и грудной прозвучал в тишине аллеи резко, как звук от сломанной сухой палки под тяжестью ноги.

– Где я бываю и с кем – это мое личное дело. Так что ничего себе не воображай...

Она хотела сказать это еще злее, оглядываясь на приятелей, стоящих возле уже заведенного «Мерседеса», но что-то ее остановило.

– Ладно,– сказала она,– раз так вышло – не обессудь... В общем, прости и прощай, мой мечтатель: каждый живет свою жизнь...

– Но как же... мы, ты – заговорил Сашка,– зачем же все тогда?

– Что было – то сплыло,– засмеялась Алла.

Она повернулась, чтобы уйти, покрутила раскрытой головой, и светлые волосы так знакомо и весело разлетелись у нее за спиной, облекая крепкие плечи в бордовом пальто...

Она махнула Сашке рукой, не глядя на него и быстро покачивая бедрами, почти побежала к выходу из сквера, где ее ждал темно-синий «Мерседес» с открытыми дверцами. Из машины лились звуки музыки, чьи- то сильные руки протянулись навстречу Алле и приняли ее в слегка освещенное нутро большого автомобиля. Бесшумно закрылись дверцы. «Мерседес», тронувшись с места, выехал на широкую улицу и быстро исчез в потоке вечернего транспорта...

Сашка машинально пошел следом. Пальто его было расстегнуто, но он не обращал на это внимания. Легкий, но прохладный ветерок забирался к нему под старенький свитер – он и этого не замечал.

Он шел, и одна мысль вдруг выплыла в его сознании. А как же любовь? Была ли она, или это все происходило во сне? Сашка шел и продолжал жить ощущениями событий, которые он пережил с Аллой. Он жил ощущениями той ночи, когда они до утренних звезд ходили по набережной. Он читал ей стихи – свои и чужие, рассказывал о красках зари над вечерней рекой, еще о чем-то. Она молча слушала, иногда улыбалась и, подняв к нему

большое и красивое лицо, о чем-то думала. Потом также молча подошла вплотную к Сашке и положила на его плечи свои легкие руки. Он внезапно замолчал, а она нежным и в то же время сильным движением притянула его голову и поцеловала в холодные губы... Ближе-ближе в ее широко открытых темных глазах он успел увидеть отблеск луны.

Потом были новые встречи и новые поцелуи, и опять в глазах плавал голубоватый диск луны. И опять были стихи, и звездное небо, и гудки пароходов, уходящих вниз по реке...

Он и раньше несколько раз случайно встречал Аллу в кругу незнакомых молодых людей, но она на все его вопросы отшучивалась, рассказывая веселые истории о ком-то из своих знакомых. Сашке было совсем неинтересно об этом слушать, но он слушал, так как ее улыбка и открытый взгляд огромных серых глаз намертво привинчивали его ноги к асфальту, и все его другие мысли не связанные с ней, улетали далеко-далеко...

По темной аллее Сашка спустился на знакомый асфальт набережной. Здесь было безлюдно, холодно, неудобно. Он вдруг подумал, а что же теперь делать? Сашка был еще очень молод, он только год назад приехал учиться на экономиста из далекого степного хутора.

Он дошел вдоль реки до того места, где на рейде всеми огнями светили пароходы, готовые отплыть с веселыми людьми. С одного из пароходов звучала проникающая в душу музыка – легкая, красивая и грустная. Сашка вспомнил, что это музыка французского композитора Нино Рота из какого-то фильма. И вдруг он почувствовал: чем дальше он уходил от того места, где расстался с Аллой, тем легче становилось на душе. Сашка остановился и стал прислушиваться к самому себе. Он старался понять, что с ним происходит. В нем что-то рушилось и что-то рождалось. Но горечь от только что пережитого нет-нет да и накатывала на сердце, словно морская волна на берег во время сильного шторма.

Ему хотелось идти. Все равно куда, хотя не первой молодости тупфи уже плохо выдерживали мокрый снег, и в правом – хлюпало.

Он долго шел вверх по одной из центральных улиц, пока ноги сами не привели его на железнодорожный вокзал. Мимо туда и обратно спешили люди с чемоданами. Рядом с Сашкой остановилась, передыхая от тяжести огромного баула, пожилая женщина в коричневом старомодном плаще.

— Давайте я вам помогу, — простодушно сказал Сашка.

— Вот спасибо-то, — заторопилась женщина, — господи, ведь есть же добрые люди. Вот спасибо-то...

Когда Сашка помог ей втащить в купе будто кирпичами набитый баул, она заторопилась и ловко сунула ему в верхний карман пальто что-то хрустящее.

Сашка пошел было к выходу, но, опустив руку в карман, почувствовал деньги. Он не считал, сколько их было, это было ему не нужно, но от факта обнаружения этих бумажек ему опять, как час назад в сквере, стало тяжело на сердце. Он повернулся и пошел назад. Найдя купе, где сидела, только что снявшая свой коричневый плащ женщина, Сашка молча положил деньги на столик перед ней.

Женщина откровенно растерялась, что-то начала говорить, насчет того, что у нее больше нет, но Сашка, не слушая ее, повернулся и быстро пошел к выходу, толкаясь плечами среди спешащих навстречу пассажиров.

Выскочив из теплого вагона на перрон, Сашка снова попал под поток прохладной свежести уже вступившей в свои права мартовской ночи. Он поднял голову. Прямо перед ним высветился ковш Большой Медведицы, а над верхушками высоких привокзальных тополей замер внимательный лик молодой луны.

От всего этого великолепия, все еще вспоминая испуг на лице женщины в купе, Сашка тихонечко засмеялся. Улыбка еще не сошла с его лица, как он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он повертел головой и увидел. Из освещенного неоновым светом коридора вагона, который он только что покинул, на него смотрела и улыбалась белобрысая девчонка лет шестнадцати.

Она улыбалась именно ему, в этом не было сомнения. Сашка подошел вплотную к окну вагона и они, Сашка и девчонка, глядя друг на друга, продолжали улыбаться. Изредка она крутила голо-

вой вправо-влево, чуть отступая от окна, давая пройти пассажирам, и тогда он видел ее курносый профиль и взлетающий рыжеватый хвост волос, стянутый на затылке синим бантом.

Девчонка улыбалась, вертелась за окном, и Сашке было тоже весело и легко. Когда на миг она замирала у окна, то под светом неоновых ламп казалась неживой, словно вылепленной из воска куклой.

Но вот «кукла» маленьким бледным пальцем вывела на запотевшем стекле: «Кто ты?» Может оттого, что надпись он прочел наоборот, Сашка рассмеялся и со своей стороны окна вывел: «Странник».

Девчонка прочла, вновь улыбнулась, но уже спокойно, с грустинкой и развела руками. Рядом с ней вдруг появился вихрастый стройный парень. Он резко и назидательно начал что-то говорить девчонке. Сашка подошел поближе к стеклу и подмигнул. Парень в вагоне нахмурился и оттеснил девчонку от окна.

На мгновение она исчезла, но потом вновь возникла в окне и замахала рукой.

Поезд, наконец, дернулся и медленно пополз в полумрак станции. Сашка шел рядом с движущимся окном вагона и смотрел в глаза девушки. Она тоже не отрывала своего взгляда. Состав набирал ход, и Сашка уже бежал, чтобы видеть милое, веснушчатое лицо, которое становилось все печальнее и печальнее. Ему показалось, что она плачет. Может быть, только показалось, ведь они не были знакомы раньше, но они расставались скорее всего на всю жизнь, и это было естественно. У Сашки тоже защемило на сердце. Он увидел, что девушка, прижав правую руку к груди, что-то быстро-быстро говорит, не отрывая от него глаз, но слов он, конечно, слышать не мог.

Поезд набрал ход, ее окно обогнало Сашку и уплыло вперед вместе с ней, потом словно кинокадры замелькали окна других вагонов. Миновал последний, и сразу стало тихо и темно. Лишь ковш Большой Медведицы безмятежно висел над уходящим составом, уносящим в ночную мартовскую мглу мгновение Сашкиного счастья...

Ногой на лестничной площадке

Платон вышел от соседей на лестничную площадку и пошел домой, в свою квартиру этажом ниже. В голове у него стоял шум веселого застолья, женский смех и разудалые песни подвыпивших приятелей.

На лестнице было абсолютно темно. «Вот черт, опять лампочка лопнула!» – успел чертыхнуться Платон и тут же чуть не наступил на что-то шевелящееся...

– Кто здесь? – невольно вырвалось у него.

Молчание. Лишь было слышно, как внизу подвывал морозный ветер, замечая пургу в приоткрытый подъезд дома: домофон второй день был сломан.

– Я полежу тут немного, – вдруг послышался из темноты спокойный женский голос. – Я сейчас... Отогреюсь и уйду. Вы не волнуйтесь...

Платон машинально, все еще толком не сообразив, что это за женщина и зачем она здесь, перешагнул через нее и открыл ключом тяжелую металлическую дверь своей квартиры. Вошел и невольно присел на дощатую полку для обуви.

Дверь захлопнулась. За ней было тихо, лишь холодный ветер продолжал выводить свою заунывную мелодию на лестничных пролетах, там, где лежала сейчас незнакомая женщина.

Платон вспомнил, как жена, которая осталась за праздничным столом, нередко предупреждала его: «Знай, кому открывать дверь. От бомжей проходу нету... Еще унесут чего-нибудь...»

И все-таки, почему она там лежит? Платон вспомнил размеренный усталый голос женщины и предположил, что она долго шла или бежала на встречу с кем-то... А может, она не местная, заблудилась и теперь отдыхала посреди огромного зимнего города. А может, она больна и ей надо помочь?

Все эти вопросы заставили Платона встать с уютной полки и открыть дверь. Яркий коридорный свет выхватил из темно-

ты лестничную площадку и бетонную лестницу, где уже никого не было.

Платон сбегал на первый этаж, открыл дверь подъезда и выглянул на улицу. Никого. Лишь порыв рассерженного ветра бросил ему в лицо пригоршню колкого снега.

Женщина ушла в морозную ночь. Может быть, она испугалась, что Платон позвонит в милицию, или пошла искать другое, более удобное место для ночлега...

Платон тяжело поднимался на свою лестничную площадку и думал о том, что еще несколько лет назад по этой самой лестнице бегали их шумные дети, ходили и они с женой и соседями – молодые и уверенные, полные сил и надежд. Теперь дети выросли и разъехались, постарели Платон и его жена. Нет уже того света, нет былой радости.

«Господи, что это? Почему мы так живем? Разве можно так жить?» – думал Платон.

В темной промозглой тишине никто не мог ему ответить. Лишь голоса наверху тянули «По Дону гуляет...»

Певцы фальшивили...

Было, не было...

На ярко освещённом перроне большого областного города мои попутчики – суматошные и смешливые молодожёны Вовчик и Шурочка – сошли, и я остался один в купе, пропахшем полевыми цветами, которые вчера вечером Вовчик купил своей пассии на какой-то маленькой сельской станции.

Вскоре состав вновь тронулся, набрал ход и резво побежал среди угадываемых в предутреннем сумраке станционных пакугаузов, одноэтажных домиков, мелькнула высокая водонапорная башня.

На часах было четыре, но спать не хотелось. Мне вдруг показалось, что я вернулся на тридцать лет назад, когда ехал из армии. Я даже физически ощутил на плечах не синий в тёмную полосочку пиджак, а плотно подогнанный сержантский китель.

И показалось, вот-вот за поворотом вынырнут совхозные сады, за ними – жёлтая стерня, потом меловая гора с чахлой липой на самой верхотуре. Засветятся ранними огнями окошки райцентровских домов, от которых до моей Красноталовки всего три километра.

Тогда, тридцать лет назад, тоже был конец августа, из открытого окна вагона пахло антоновкой, но сильнее – вплотную прилегающим к железной дороге хвойным лесом, запах которого заносил в вагон бойкий утренний ветерок.

Со станции я, подхватив дембельский чемодан, купленный в Южно-Сахалинске, пошёл в свою Красноталовку. Помню, шёл по росистой траве, жнивью, потом по ковру начинающих вянуть жёлто-красных кленовых листьев, загребая их новыми кирзачами.

Шёл по знакомой с детства дороге мимо кукурузного поля. Первые лучи солнца уже били в глаза, Красноталовка была почти рядом, за мелким березняком, и я вдруг заорал нашу строевую:

*Ты прошла с солдатами,
Горами Карпатами,
Согревала ласково
Серая шинель...*

На плацу танкового полка на правах «деда» и старшины третьей роты не пел, а тут меня проняло.

Я подошёл к родительскому дому, и пока открывал старую калитку, меня обляял наш пёс Кудлатый.

— Вот тебе и здрассте-пожалуйста,— сказал я весело,— ты что, Кудлатый, спятил или постарел?

Услышав мой голос, пёс затих и, завивляя куцым хвостом, побежал навстречу. Я потрепал его по хитрой лисьей морде и вошёл во двор.

Было ранее утро, но двор уже жил своей жизнью. В закуте вздыхала корова, хрюкнул голодный с ночи поросёнок, в курятнике наводил порядок петух. Вот он, дым отечества. Как будто и не уезжал никуда...

Прогрохотал металлический засов изнутри хаты, и отец, маленький, подвижный, в неизменном сером, замызганном пиджакишке, уже сходил с высокого деревянного порога.

— Здорово, солдат! — Почти без всякого удивления с хрипотцой в голосе сказал отец, но по тому, как порывисто он меня обнял, понял: ждал, волновался...

— А я думаю, чего тут Кудлатый разоряется,— отец смахнул слезу,— думаю опять Надьки Гуровой гуси на наш двор зашли. Пошёл вон! — грозно крикнул отец Кудлатому, который было сунулся в открытую дверь хаты.

— Ну вот, сразу сердчать,— я тоже обнял батю, почувствовав его худые, жилистые плечи.

— Какой там — сердчать. Я ныне тихий стал. С этим делом,— отец щелкнул себя по горлу,— можно сказать, завязал. У нашей матери не забалуешь...

На порог, легка на помине, вышла мать. Ещё больше раздобревшая, простоволосая, в старом, знакомом халате, она тяжело спустилась с порога. В руках у неё было ведро — шла доить корову. Увидев меня, охнула, присела на ступеньку и заплакала. Тут же

выскочила моя двадцатилетняя сестра Марина. Ещё не причёсанная, босоногая она кинулась ко мне, повиснув на шее.

— Вот так и выходит — всё мать у тебя на последнем месте, — шуточно сквозь слёзы сказала мать, когда я подошёл к ней, и, обняв её, поцеловал в знакомые, чуть углубившиеся морщинки...

Что было потом? Завтракали на скорую руку. Я сидел на широкой лавке под образами, с удовольствием ел вчерашние разогретые на электрической плите щи. Отец было начал расспрашивать про службу, вспоминать свои ратные годы, но мать решительно прервала его.

— Ты, Алексей, из ума что ли выжил. Отстань от сына. Успеешь наговориться. Пусть Сашок с дороги охолонет. А ты иди поросёнка режь. А то к вечеру народ соберётся — чем угощать будем?

То, что соберётся народ, что людей надо будет угощать — было само собой разумеющимся делом. И отец безропотно встал из-за стола.

— Верно говоришь, Матрёна Ивановна. Пойдём, Сань, заведем кабанчика. Справный вышел. Специально тебя дожидался, не трогал, а давно пора. Тебе и карты в руки, — засмеялся отец, обнажив нижние щербатые зубы. — Поглядим, какой ты вояка, товарищ механик-водитель...

Пока выгоняли поросёнка, пока я чесал у него брюхо, отец искоса посматривал на мою крепкую мускулистую фигуру в тельняшке и, словно забыв о том, зачем вышли во двор, спросил:

— Сколько у тебя учений там на Сахалине было? Четыре? Маловато. А ночных? Тоже не густо. Вот к нам в сорок третьем в партизанский край танкисты генерала Катукова целый десант устроили. Вот это герои!

— Вы бы не болтали, а делом занимались, — мать уже шла от коровы с ведром, наполненным парным молоком.

— Ты, Матрёна, что въедливый старшина, — хмыкнул отец, — не волнуйся, щас сладим дело. А ну, сынок, покажи класс...

Он протянул мне кривоватый с отточенным лезвием тесак. Поросёнок, почувствовав неладное, вскочил на свои короткие

ножки и в раскачку побежал по двору. Вскоре он забился в лопухах между сараями и затих.

Я повертел в руках нож и посмотрел на небо, уже голубое, щедро освещённое солнцем, хотя над близким лесом всё ещё висело марево утреннего тумана. Мне захотелось уйти в этот лесок, где чуть не каждое дерево было знакомо, где в холодке росла земляника, где пахло грибами и мятой, и я вдруг понял, что не могу выполнить желание отца. Куда-то ушла лихость, и даже выпитая рюмка водки не помогла настроиться на воинственный лад. Я подумал о том, что крестьянская в общем-то работа – валить скотину – оказывается не всякому крестьянину по нутру...

— Эх ты, язви твою душу, – огорчился отец, увидев мою нерешительность. Он смачно, но не злобливо выругался и взял у меня из рук тесак.

— А ну, Сань, тяни его за нижние ноги, – вскоре закричал он, наваливаясь на боровка плечом...

Многое забылось с тех пор, а вот эта история с поросёнком почему-то задержалась в памяти. Потом был ужин по поводу моего приезда. Соседей набилось целая хата. Я сидел в центре стола и отвечал на разные вопросы про службу на Сахалине.

Пахло свежей печёночкой, разваренной картошкой, самогонном-первачом, подкрашенным вишнёвым вареньем, малосольными огурцами, укропом...

Напротив сидела черноволосая, большеглазая Ленка, подруга сестры и искося то и дело кидала на меня взгляды. Ленку в деревне считали красавицей, а мне так не казалось – тогда мне нравились бойкие райцентровские девчонки с модными причёсками и в белых туфлях–лодочках. У Ленки не было ни причёски, ни туфель, и всё же там, на Сахалине, когда приходила тоска по дому, я кроме родителей вспоминал почему-то Ленку – простоволосую, весеннюю, в лёгком ситцевом платье.

Ленка жила с непутёвой, шумной матерью, у которой никогда не было постоянного мужа, любившей выпить, и с полоумным братом Костюхой. Костюха, правда, был тихий, добрый, Ленка любила его, ухаживала за братом. Летом в дальней лощине Ко-

стюха пас деревенских коров, бабы платили ему за это, но мать почти всегда отбирала у него деньги на выпивку...

Ленка, как говорили в деревне, с детства «бегала» за мной почти не скрывая этого, несмотря на моё равнодушие к этому «беганью». За день до отъезда в армию, когда я возвращался из совхозного клуба, встретил её у нашей хаты.

Ленка стояла спиной к забору, и под светом луны в белом ситцевом платье она вдруг показалась мне нездешней, незнакомой, будто пришедшей из райцентра или соседнего села. Она стояла молча и смотрела не на меня, а куда-то в даль, за огороды, где в берёзовой роще ещё гуляла молодёжь и где под гармошку объездчика совхозного сада Петьки Кузнецова девчата выводили:

Куда бежишь, тропинка милая?

Куда зовёшь, куда ведешь?

Кого ждала, кого любила я,

Уж не догонишь, не вернёшь...

— Уезжаешь? – спросила Ленка, теребя поясok платья.

— Уезжаю. Труба зовёт...

— Знаю, я тебе безразлична, – Ленка не обратила внимания на мою иронию, – но я всё равно тебя буду ждать. Вот и всё, что хотела сказать...

Я машинально обнял Ленку. От её волос пахло мятой и ночной свежестью. На мгновение она прижалась ко мне, и я почувствовал, как задрожали её худенькие плечи. Ленка завертела головой, пытаюсь вырваться из моих рук, и я поцеловал её сначала куда-то в висок, а лишь потом в губы и, повернувшись, пошёл к калитке.

Во дворе я сел на лавку и стал думать про Ленкины слова. У меня было уже несколько «дружб» со станционными девчатами, я считался бойким парнем, а тут отчего-то заныло сердце. Будто ехал я ехал, и включился внезапно тормоз. И заскрежетало на душе. Почему? Отчего?

Ленка всё ещё стояла на улице, я мог бы выйти к ней. Но если выйду, подумал я, то произойдёт что-то нехорошее, неправильное...

Так я думал тогда. А теперь через много лет я жалел, что не вышел, что не сказал ей в ответ добрых слов. Ведь тогда может быть впервые проснулась моя душа. И может быть в тот миг окончательно прощался я со своим детством...

Я слышал, как Ленка прошла совсем рядом и шаги её стали удаляться всё дальше и дальше, пока не стихли. Я сидел, привалившись к забору спиной, и мне вдруг захотелось заплакать. Может быть, уходя в армию, я почувствовал свою вину и перед Ленкой, и ещё перед кем-то, кого обидел в этой начинавшейся моей взрослой жизни...

* * *

... Когда рассвет уже начал появляться в окне вагона, закончилось чувство ожидания. До боли в сердце захотелось увидеть родную деревню, сад за околицей, наш дом в том саду и пшеничное поле за ним.

Я ехал на свадьбу племянника, ехал без особого желания. Просто ляпнул год назад розовощёкому лохматому увальню Лёне, что да, приеду на их свадьбу с Ритой и не мог не сдержать слово.

Ехал я один, так как более двух лет с женой мы уже не жили, а сын Колька лишь рассмеялся, когда я позвал его с собой с Красноталовку.

Лёня, сын сестры Марины, работал трактористом в совхозе, чудом сохранившемся в нашей деревне. Племянник мне нравился своей степенностью, рассудительностью, полным отсутствием интереса к передаче «Пусть говорят» и всяким электронным при-бамбасам. Но в прошлом году, когда я приезжал в отпуск, Марина отозвала меня в сиреневую аллею, что росла возле их большого кирпичного дома под оцинкованной крышей и вдруг всхлинула:

— Лёнька-то мой с ума сошёл, – к Ритке Кожуховой прилип, как репей...

— Ну и что? – спросил я. – Ритка так Ритка. Тебе-то что?

И тут я вспомнил эту грубоватую рослую блондинку, похожую на скульптуру «девушка с вёслом».

— Как что, Саша? — Марина опять всхлипнула.— Ритка эта с Жоркой Скворцовым путалась в прошлом году. Недели две жила у них во флигеле. А перед Новым годом бросил её Жорка и уехал в Москву. Говорят, женился и охранником там в какой-то фирме устроился... Господи, зачем мне всё это! И не знаю, что делать?

— А что делать? Ничего делать не надо. А если любовь у них, Маша?

Я назвал сестру, так как называл в детстве, и она почувствовала, что мне не безразлична её тревога, долго молчала, хотя слёзы невольно катились по её ещё крепким смуглым щекам.

— В конце концов Никифор-то твой что про всё это думает?

— Уж он придумает,— Марина устало махнула рукой.— У него одна забота — хозяйство. Каждый год что-нибудь пристраивает, расширяет, закупает. Недавно ларёк пивной открыл. Очень хороший у меня муж! Только надоело всё. Ни разу толком в отпуск не съездили. Не поверишь — в Москве ни разу не были. Жить-то когда, Саша?

Марина повернулась и пошла к дому, освещённому изнутри электрическим светом. Мне стало жаль её, но что я мог сделать, чем помочь?

Теперь я ехал на свадьбу, зная, что всё уладилось. Уладилось же как-то... На станции, едва вышел из вагона, меня окликнул Лёня, по-прежнему розовощёкий, но хорошо подстриженный, слегка похудевший.

— Дядь Саш, транспорт подан,— Лёня подвёл меня к мотоциклу с коляской.— Садись, пожалуйста...

* * *

Свадьба была не очень большая, но по-деревенски шумная. Столы с угощениями стояли под яблонями, и иногда пожелтевшие листья падали на столы, хотя на это никто не обращал внимания. Я увидел знакомые лица родственников, но больше — незнакомых, молодых, наверное, приятелей жениха и невесты. Муж сестры Никифор, демонстративно не прикасаясь к спиртному,

ходил, распоряжался, кому-то делал замечания, что-то шептал тамаде...

Я откровенно заскучал. Заметив это, ко мне подседа сестра, обняла, поцеловала в щеку, начала благодарить за подарок – конверт с деньгами: успела, видимо, пересчитать, потом начала вспоминать наших родителей, которые давно покоились на деревенском кладбище.

— Ну как дела на заводе?

— Хвалиться нечем, но пока держимся...

— А Валентина? Не сошлись?

— Не сошлись...

— Ох, братик мой дорогой, что ж судьба-то тебя не жалует? – сестра заплакала, – ты ведь у нас в Красноталовке всегда первым парнем был. Может зря уехал?

— Ты свои «охи» прекрати. У каждого своя судьба-дорожка...

— Были люди на этой дорожке, кто любил тебя, да ты того не оценил, мимо прошёл, – Марина полотенцем, что держала в руках, вытерла слёзы.

— Это ты про Ленку? Кстати, где же она, твоя верная подруга? Что-то не вижу её среди гостей?

— Спихватился! – Сестра грустно и, как мне показалось, с презрением усмехнулась. – Ждала тебя лет пять, как ты в город укатил. Всё надеялась. А как узнала, что женился, вышла за одного плюгавенького командировочного инженеришку, что на маслозавод приезжал монтировать оборудование. Увёз он Ленку нашу в Москву. Родила она дочку, потом сына. Поначалу писала мне исправно. Но последние полтора года – молчок. Я, правда, послала ей приглашение на Лёшкину свадьбу, да сомнительно, что приедет. Она нынче фирмой какой-то руководит. Он, плюгавенький-то, с головой оказался. Успел там, что надо приватизировать, бизнес организовал... Мать Лены померла, как раз в тот год, когда она с инженером познакомилась, а Костюху не бросила. Так и сказала жениху: или брата с собой берём, или никуда с тобой не поеду. Взяли...

* * *

Перед сумерками, когда в саду стало особенно темно, на высоком столбе включили сразу две электрические лампочки, и оттого стали видны лица подвыпивших гостей. Ко мне подошёл Никифор, уже изрядно пьяный и начал доказывать, какой он добрый хозяин, как он благодетельствовал мою сестру, и что для молодожёнов выделил и флигель, и мотоцикл (которому в субботу сто лет, подумал я), и первотёлку с курами.

— С курами? — спросил я, невольно сдерживаясь, чтобы не послать зятя в одно место.

— С ими, — пьяно икнул Никифор, — целых восемь штук... А что мало? Ещё дам, нам не жалко... А вот ты, Александр, что имеешь? А? Что Кольке своему выделил?

Я встал из-за стола, неосторожно опрокинув бутылку тёмного вина, и Никифор, несмотря на хмель, метнулся к этой бутылке и, подхватив её, тщательно завинтил пробку.

В саду становилось всё сумрачнее, но среди деревьев я различал знакомую тропинку. Во многих местах она заросла и я, пока дошёл до нашего бывшего двора, изрядно промочил в росе чешские туфли.

Забор покосился и в некоторых местах лежал на земле, так что отцовский дом сиротливо и одиноко стоял без построек и сараюшек, давно сгнивших или растащенных на какие-то нужды (мне сразу вспомнился хозяйственный Никифор).

Где-то за домами на горизонте догорала вечерняя заря, и в её свете я едва различил деревянные ступеньки. В доме давно никто не жил, но я всё же решил войти. Но едва вступил на ступеньку, как она треснула подо мной и мне показалось, я упал, но, наверное это только показалось, так как в следующий миг я опять шагнул дальше, и дверь открылась почему-то без стука щеколды...

В сенцах пахло пожухлым сеном и мышиным помётом, под ногами заходили старые осевшие доски пола. Открыв дверь хаты, я осторожно заглянул внутрь. Старый дубовый стол по-прежнему стоял у окна, заслонка загораживала печное отверстие, а на железной кровати, где когда-то спали мать с отцом, лежали свёрнутые старые матрацы.

Надтреснутый посредине четырёхугольный радиоприёмник, купленный отцом в конце пятидесятых годов, криво висел на стене, затянутый паутиной. Рядом молчали часы с кошачьими глазками. Паутиной был затянут и угол, где когда-то висели иконы. Лишь старые тёмные занавески висели на своём месте, напоминающая о святом угле, перед которым много раз молилась мать.

Щелкнув выключателем, я понял, что света нет и наугад шагнул мимо чёрного чулана во вторую маленькую комнату, где когда-то стояла моя деревянная кровать, сделанная руками отца. В темноте я шагнул неловко, ударился головой о низкую притолоку, на которой раньше висела люлька, сплетённая из ивовых прутьев – сначала моя, а потом Маринкина...

Растирая шишку на голове, я вдруг услышал, как... пошли старые часы. Меня это почему-то не удивило, не удивили и знакомые голоса, слышавшиеся в сенцах.

— А картошку убирать завтра всё же пора, – слышался голос матери. – Ты, Алексей, сходи с утра к Ивану Андреевичу, попроси лошадёнку с сохой...

— Не в первой, – ответил отец, усаживаясь на лавку под образами.

Мать щелкнула выключателем, зажёгся свет и из-за занавески на привычном месте я увидел иконы и целёхонький белый радиоприёмник, кошачьи глазки на часах бегали туда-сюда.

— Давай выпьем, Матрёна, – сказал отец и откупорил бутылку.

— Опять ты за своё, – мать недовольно бурча захлопотала в чулане, загремела заслонкой. – Вот Сашок с армии придёт, я ему расскажу про твои художества...

— Сашка? Да он меня поймёт, – отец крякнул и опрокинул стограммовый стаканчик, – он у нас герой... Кто в Красноталовке ещё в танковых войсках служит? Никто. А он служит. Туда дефективных не берут...

Я видел, как мать села на лавку под образами рядом с отцом и подпёрла голову руками.

— Опять Маринки нету,— вздохнула она,— опять со своим горюном гуляет, ох, не нравится он мне, больно жадный. Не верю ему...

— А почему не веришь? — отец опять забулькал,— а я верю. Молодец Маринка: за Никишкой будет, как за каменной стеной. Вот как у Сашки сложится жизнь — тут я сомневаюсь...

— Поздно уже,— сказала мать,— ложись, Алексей, а то глядь, утром и сын из армии придёт. Ведь телеграмма-то вчерась была... А что касается с кем ему быть — он, думаю, уже выбрал. Ленка Маруськина ему по душе...

— Дура ты тёмная,— отец поперхнулся,— кто Сашка и кто она? Ведь он писал, что в институт наметил поступать, а она во-семь классов кое-как кончила.

— Ложись, ложись,— сказала мать,— без тебя разберутся...

— Как ложись, если ты такие темы поднимаешь,— заартачился отец.— Симка Котова, Ивана Андреевича дочка, председателя нашего — вот кто Сашке пара. Дом-то у них какой! А с лица воду не пить...

— Нет, хорошая Елена,— не унималась мать, укладываясь на печи и укрываясь лоскутным одеялом,— славная девушка, не только красивая, но и умная, работающая, не чета Симке-белоручке...

— А мать у неё кто, у Ленки твоей? — отец опять заартачился,— позора хочешь на нашу голову...

— Иди спи, генерал какой нашёлся,— мать повернулась на бок и задвинула за собой полосатую сатиновую занавеску.

— А ну тебя к лешему,— отец, покачиваясь, пошёл к кровати. Он прошёл совсем рядом со мной, я бы мог тронуть его за ногу, но руки не слушались меня, словно онемели. Отец с размаху повалился на постель и вскоре захрапел.

Свет они выключить забыли. И, когда в хате совсем затихло, я медленно встал и на цыпочках пошёл к двери. Обычно скрипучая дверь легко, будто её смазали солидолом, открылась и, осторожно пройдя по сенцам (пол подо мной тоже не скрипнул), вышел на улицу.

Была уже ночь. Из-за туч медленно появлялась луна. Оглянувшись на наш дом, из которого только что вышел, я не увидел света в окнах, но удивиться не успел, очередная деревянная ступенька треснула подо мной, и я упал, ударившись головой о что-то невидимое, наверное старую трухлявую скамейку...

* * *

Очнувшись, я не увидел, а скорее почувствовал Ленку. Она стояла на коленях рядом со мной, лежащим возле стены, и поддерживала мою голову руками.

— Как ты себя чувствуешь? — Ленка прижалась ко мне щекой, и я почувствовал, что по щеке её катятся слёзы.

— Всё хорошо, — ответил я, приподнимаясь и садясь на траву, — что ты плачешь? Всё нормально, видишь — даже крови нет...

Мне действительно было хорошо: голова из-за падения почти не болела, и тихая радость медленно оживала в глубине души.

— Ты извини, я сейчас, — сказал я Ленке и опять пошёл в хату. В сенях вновь под ногами задвигались доски, закрипела дверь, которую я быстро распахнул. Где-то в темноте хаты застрекотал сверчок, и сквозь маленькое оконце, освещённое снаружи луной, было видно, что на стене по-прежнему висят безжизненные часы, рядом покосился радиоприёмник. В углу не было никаких икон...

Трудно было поверить, что я видел своих родителей во сне, а может быть, как я упал в первый раз с порога, так и пролежал до появления Ленки?

Думая обо всём этом, я вышел на улицу.

Тучи совсем отошли, отплыли за берёзовую рощу, и теперь уже всю светила луна, и совсем недалеко за деревьями продолжало шуметь свадебное застолье.

Ленка села на траву, я примостился рядом.

— Откуда ты взялась? — первое, что я спросил.

— Могла бы ответить по анекдоту, но скажу честно: на свадьбу Лёшкину приехала. Пригласила Марина, и приехала. Причём, чуть ли не всем семейством. Но село есть село. Завязла «Хонда» наша в мокром чернозёме. Муж пошёл трактор искать, дочь со своим Вадиком охраняют добро, нажитое непосильным тру-

дом, а я... Будто магнитом сюда, к вашему дому потянуло... И надо же – не обмануло сердце. Я, собственно, и приехала, зная, что ты будешь на свадьбе...

– Лен, это правда? – у меня перехватило дыхание.

– Я тебя никогда не обманывала. Да и ты меня тоже, – она усмехнулась, – может потому и захотелось тебя увидеть. Когда ещё придётся?

– Я тоже много думал о тебе, – сказал я, – особенно – последнее время. Как жаль, что столько лет упущено...

– Что Бог не делает, – Ленка достала из сумочки сигареты, щелкнув зажигалкой, закурила. – Не предлагаю, сестра писала, что с никотином не дружишь. И молодец!

Она погладила меня по голове, и её прикосновение вызвало у меня умиротворённость, похожую на ту, которую испытывал я, когда вот так же гладила меня по голове в далёком детстве мать.

Я схватил её руку и поцеловал мягкую, сухую ладонь.

– Долго ждала я тебя, Саша! Много слёз выплакала, всё вспоминала нашу деревню и вечер перед твоим уходом в армию, поцелуй тот единственный...

Ленка затаилась сигаретой, и в свете этой затяжки я увидел её повлажневшие глаза.

– Видно, так уж устроено – хочется иногда думать о самом важном, что было в жизни, хочется вернуться туда, в молодость, да нельзя это сделать. Нельзя, Саша...

Она поднялись, я тоже встал. Мы оказались почти одного с ней роста. Ленка положила руки мне на плечи и нежно поцеловала в губы. Потом устало произнесла:

– Ну, прощай! Дай тебе Бог счастья! И – спасибо тебе, Саша...

Я хотел спросить: за что она благодарит меня, но не успел, так как Ленка быстро пошла вдоль покосившегося забора в ту сторону, где шумела свадьба.

Её фигура, пополневшая, но всё ещё статная, желанная несколько минут была видна на фоне лунного света, пока Ленка не зашла в тень яблонь старого сада. Сада нашей юности...

Смешной слугай

Заведующий репортерским отделом городской газеты «Добрый вечер!» Эдик Ломакин, импозантный неженатый красавец с легкой сединой на подстриженных висках, потерял голову из-за Милочки Барыкиной, недавно принятой в редакцию оператором компьютерного набора.

Милочка была миниатюрная, во всех местах кругленькая с маленькими карими глазами-бусинками на розовом всегда восторженном лице. Встречая ее в коридоре, Эдик чувствовал, как что-то обрывается в его груди и глубоко падает в недра почти двухметрового тела.

Когда Милочка, повиливая круглыми, изящными бедрами в обтягивающих джинсах иногда заходила в репортерский офис, Ломакин, как мальчишка, не мог оторвать от неё глаз. В такие минуты у Эдика напрочь пропадало его обычное остроумие...

«И на старуху бывает проруха», – думал обо всем этом Ломакин. На звонки многочисленных подруг он отвечать перестал.

Как-то, оставшись один в отделе кадров, Эдик торопливо, по-воровски отыскал в шкафу личное дело Барыкиной и узнал, что она замужем и у нее есть ребенок. Ломакин загрустил, чувствуя себя оскорбленным полученной информацией. Но утром следующего дня, вновь увидев Милочку, услышав перезвоны ее кукольного голосочка, он опять почувствовал, как что-то обрывается в его груди.

– Ой, Эдуард Михайлович, а у меня к вам дело, – вдруг сказала Милочка, поравнявшись с завотделом.

В коридоре было довольно тесно, и маленькая Милочка несколько раз слегка коснулась высокой грудью плеча Ломакина.

– Я вас слушаю, – Эдик старался говорить как можно спокойнее, но в то же время почти физически теряя дар балагура, при помощи которого он обычно ошарашивал и покорял женщин.

— Эдуард Михайлович, мы могли бы с вами встретиться? – радостно, но в то же время и загадочно (как показалось Ломакину) выдохнула Милочка.

— Да, конечно, а где, когда? – машинально откликнулся Эдик, и сердце его затрепетало.

— А приходите завтра ко мне домой, – Милочка повернула аккуратную головку к окну и махнула рукой: – Вон там, за парком, возле кафе мы живем. Придете?

Договорились встретиться вечером после работы, и Милочка, сообщив адрес и одарив Эдика лучезарной улыбкой девственности, убежала по своим делам.

Весь день Ломакин, томимый предстоящей встречей, не находил себе места. То он представлял, как она дарит ему неземные ласки, то на сердце наваливалось тревожное чувство. «А муж, а ребенок? – задавал себе вопрос Эдик и тут же старался себя успокоить: – Да нет, наверное, она сегодня одна, иначе зачем же приглашать...» И он вновь представлял, как обнимает Милочку.

Вернувшись с работы, Ломакин стал собираться. Принял ванну, тщательно побрился, надел любимый темно-синий французский костюм, сунул ноги в модные кожаные туфли. По дороге он зашел в супермаркет и купил бутылку дорогого коньяка, в цветочном ларьке выбрал роскошный букет белых роз...

Дверь ему открыл толстый черноволосый мальчик лет десяти, чем-то неувлимо похожий на Милочку. Мальчик равнодушно взглянул на гостя с цветами и громко, чуть ли не на весь подъезд, крикнул:

— Ма, это к тебе...

В дверях показалась Милочка в розовом халате с каким-то пузырьком в руке.

— Проходите, Эдуард Михайлович, не стесняйтесь, – сказала Милочка и солнечно улыбнулась, – я – сейчас...

Пока Ломакин снимал туфли, Барыкина что-то делала за зеленой матерчатой ширмой, разделяющей маленькую комнату-гостинку.

— Ма, я пошел к ребятам на улицу, – опять громогласно сообщил черноволосый мальчик, направляясь к выходу.

— Долго не гуляй,— раздался из-за ширмы голос Милочки, и сердце Эдика, все еще стоящего в прихожей с букетом в руках и коньяком в кармане, встрепенулось: они остаются одни!

— Проходите сюда,— позвала из-за ширмы Барыкина, и гость услышал перезвон стекла. «Неужто угощение готовит? — мелькнуло в голове.— Не зря я коньяк захватил...»

Эдик шагнул за занавеску и... остолбенел. Здесь повсюду: на столе, на полу, на подоконнике стояли пузырьки, баночки, бутылочки.

— Вот смотрите,— Милочка взяла один из пузырьков и вылила из него темную жидкость на потертый ковер у себя под ногами. По ковру расплылось синее пятно.

— Думаете, испортила вещь? — хозяйка рассмеялась, словно рассыпала горох.— А мы вот так...

Она вылила на тоже место жидкость из другого флакона, и пятно стало медленно таять, пока совсем не исчезло.

— Ну что скажете? — с восхищением спросила Милочка,— а вот еще фокус...

Она схватила другой пузырек и плеснула из него себе на кофточку чуть ниже груди.

— Что вы делаете! — невольно вырвалось у Ломакина.

Он без приглашения опустился вдруг в старое кожаное кресло, одиноко стоящее у стола, заставленного Милочкиным богатством.

— Химия! — восторженно ответила Барыкина, вытирая на себе след от краски волшебной жидкостью.— Я тут в одной фирме подрабатываю, реализую эти замечательные препараты...

— А как же... А я причем? — приходя в себя спросил Ломакин и перекинул ногу за ногу,— Вы что, меня на экскурсию пригласили?

— Да нет,— замялась Милочка,— просто вы мне показались симпатичным человеком и я хотела, можно сказать, поделиться с вами бизнесом...

— Что-что? — Эдик положил букет на стол между химикатами.

— Ну, в общем, я думала вы заинтересуетесь и напишите заметку в нашу газету про эти препараты. Чтоб покупали лучше, а то ведь не набегаешься по квартирам...

И видя, что гость встает и поворачивает к двери, несмело сказала ему в спину:

— Не бесплатно, конечно...

Дома Ломакин, чертыхаясь снял с себя дорогой костюм, со злостью отбросил туфли в угол комнаты и, оставшись в одних трусах, лег на диван лицом вниз. Ему было одиноко и тоскливо. Он вдруг начал вспоминать лица девушек, побывавших в его квартире, но лица мелькали в его сознании, сливаясь в одно, которое он не смог бы описать...

Привстав, он дотянулся до телефона и набрал номер главного редактора.

— Петрович, я что-то плохо себя чувствую. Температура? Да, высокая. Завтра не приду, уж не обессудь. Спасибо.

Положив трубку, Ломакин налил целый фужер коньяка, вернувшегося вместе с ним от Милочки, и выпил до дна. Потом рухнул на диван и включил телевизор. Показывали очередное шоу со «звездами». Но Эдик лишь мельком посмотрел на знакомые, до смерти надоевшие лица, вздохнул и закрыл глаза. Вскоре он крепко спал. Лишь две слезинки выкатились из-под сомкнутых век Эдика и замерли на щеках, чтобы высохнуть через некоторое время...

Дождь на мосту

Поезд из Москвы пришёл рано. Ещё плыл в ночной дымке большой стеклянный вокзал, а над пирамидальными тополями, растущими у перрона, висели звёзды, мерцая и переливаясь, словно радуясь чему-то там, в невообразимой своей вышине...

Выйдя из вагона, заместитель областного министра сельского хозяйства Игорь Петрович Волков зашёл в вокзал, пересёк зал ожидания и направился к выходу в город. Краем глаза увидел на привычном месте работающий газетный киоск и, подойдя к нему, купил областную газету, на ходу начал читать. Волков находился в командировке больше недели, соскучился по местным новостям.

Читал газеты как большинство людей – с последней страницы. В глаза бросилось знакомое лицо в чёрной рамке. Волков остановился, потом машинально присел на скамейку, стоящую у стены зала ожидания. На траурном снимке была Жанна. Игорь Петрович вгляделся в строки некролога. «В дорожной аварии погибла наша талантливая журналистка, лауреат конкурсов...», – строчки вдруг запрыгали перед глазами Волкова, незнакомо запыло сердце.

– С приездом, Игорь Петрович! – к нему подошёл как обычно оживлённый, белобрысый водитель Саша. – Чуть было не проглядел вас. Давайте вещи...

Быстро подхватив объёмистый портфель шефа, Саша заспешил к выходу. Волков встал и, словно факел сжимая в кулаке газету, пошёл следом. В уютном салоне «Тойоты» Саша начал бойко рассказывать о последних новостях в министерстве, о своей воскресной вылазке на рыбалку. Игорь Петрович слышал его голос, словно сквозь вату. «Погибла талантливая журналистка, погибла, погибла», – било в висок.

– Останови, – вдруг резко, почти грубо сказал Волков в спину водителю.

Выйдя из машины, медленно побрёл по улице. Город просыпался. Прогудел первый автобус, из-за угла, о чём-то оживлён-

но беседуя, вышла группа дорожных рабочих в оранжевых робах, первые прохожие заспешили по своим делам.

Игорь Петрович думал о Жанне. Он отчётливо, до малейших подробностей вспоминал их первое и последнее свидание на мосту через Дон. Тогда Волков ждал её в «Тойоте» на левом берегу и уже в деталях представлял их встречу, как вдруг разверзлись небеса и под сильным ветром упруго закосил дождь. Струи забарабанили по крыше автомобиля с такой силой, что заглушили красивую песню Иглесиаса, звучащую из динамиков. Игорь Петрович подумал, что Жанна может не найти его среди дождя, в белом тумане, опустившемся на город вслед за ливнем. Его стало злить, что природа противится их встрече, такой желанной, на которую он надеялся с того самого мига, как впервые увидел Жанну.

Она пришла к нему в рабочий кабинет брать интервью о развитии фермерства, и он поначалу неохотно, с натугой отвечал на её вопросы, то и дело, кидая взгляд на папку с документами, которые предстояло подписать.

Он так и не понял, почему обратил на неё внимание как на женщину. В жизни Волкова, высокого, стройного, похожего на голливудского киноартиста, было немало интересных женщин. Да и жена Инга до сих пор числилась среди первых городских красавиц...

Отвечая на очередной вопрос, он искоса попристальней взглянул на неё и увидел перед собой уже не очень молодую женщину с прямым взглядом и, как ему показалось, скучным лицом. Но когда он ответил, а она вновь спросила, слегка улыбнувшись и взглянув на него серыми, чуть раскосыми глазами, он понял, как она ещё хороша собой, как умна и что он давно не встречал таких женщин...

Они проговорили долго. За окном уже был вечер, а ему все хотелось говорить и говорить с Жанной.

Он вызвался её подвезти домой. Она не отказалась, сообщив лишь, что дорога неблизкая – живёт в небольшом посёлке за городом. Водителя Волков давно отпустил, поэтому за руль сел сам. Пока ехали, никак не могли продолжить разговор, будто что-то сломалось, оба говорили невпопад и, почувствовав это, Жанна замолчала и стала смотреть в тёмное окно автомобиля.

Она указала сельскую улицу и маленький шлакоблочный дом, едва различимый среди высокой травы и старых яблонь. Он заглушил мотор и вышел, чтобы открыть для неё дверцу, но не успел – Жанна открыла её сама. Коротко попрощавшись, пошла по заросшей тропинке мимо рубленого старого колодца.

Видимо там, в домике, её ждали, а может, и смотрели сейчас из низкого оконца. Думая об этом, Игорь Петрович понимал, что у него нет никакой возможности задержать её, сказать что-то на прощанье и может быть то, что он хотел и не решился сказать в машине.

Утром следующего дня Волков нашёл телефон редакции, где работала Жанна, и позвонил. Услышав её голос, без предисловий сказал:

— Мы не обо всём вчера поговорили. Давайте встретимся?

Жанна ответила не сразу.

— Вы наверное хотите материал посмотреть перед публикацией? Рано. Он будет готов лишь завтра...

— Нет, – сказал Волков, – мне надо обсудить с вами совсем другую тему...

— Где, когда? – голос Жанны был равнодушный, глуховатый, и он с огорчением подумал, что позвонил зря. Но она вдруг продолжила: – Что же вы молчите? Или раздумали встретиться?

Договорились встретиться за мостом: так удобнее и ей, и ему.

Он приехал заранее... И вот – этот дождь, будь он неладен. Изредка над Доном высвечивала молния. Наконец Волков не выдержал. Прихватив с заднего сидения серую ветровку, выскочил из машины, кое-как оделся и по-юношески стремительно побежал вверх по крутой лестнице.

На мосту он остановился, вслушиваясь в гулкие удары сердца, ощущая болезненное напряжение в коленях. Ощущения эти были для Волкова почти забытыми, так как он уже и не помнил, когда так быстро бегал и бегал именно по такому поводу...

Прикрываясь ладонями от настойчивых струй колкого, не полетному прохладного дождя, он пошёл по мосту в сторону города. Дорожка возле перил была пуста, и сердце, начинавшее было успокаиваться, опять тревожно ёкнуло: «Не пришла!»

И тут же увидел её маленькую фигурку в желтом плаще под синим зонтом, ломающимся от ветра. Закрываясь от дождя, и борясь с зонтом, Жанна не увидела его, пока они не столкнулись.

Игорь Петрович прижал её к себе, боясь, что Жанна испугается и качнётся в сторону бегущих совсем рядом автомобилей.

Получилось, что он обнял её, и Жанна тоже по инерции прижалась к нему, невольно коснувшись лицом его лица, и он губами почувствовал её мокрую холодную щеку, ощутил под желтым плащом маленькие плечи.

Обнявшись, они стояли над Доном, словно забыв вдруг, что над ними режется гроза и продолжает идти надоедливый дождь, а внизу бурлит серая, растревоженная ливнем река...

Всё это Игорь Петрович вспомнил сейчас, медленно шагая по утреннему городу. На миг ему показалось, что он перебирает в уме сюжет какого-то фильма или книги. Так мимолётны были отношения с Жанной, что в их реальность можно было и не поверить. Но они были! Был дождь на мосту, были мокрые ладони Жанны на его щеках и была та единственная их ночь в старой деревянной даче на левом берегу. Дача была совсем не министерская, Волков построил её давно, ещё будучи агрономом пригородного совхоза.

Под утро, когда наконец-то закончился дождь, и в комнате стало душно. Жанна отбросила коричневый плед и, встав с раскинутого дивана, обнажённая пошла открывать форточку.

Лёжа в постели, он любовался ею и радуясь, и одновременно испытывая чувство вины. Ночью она рассказала о муже – инвалиде первой группы, двух ещё толком не определившихся в жизни взрослых детях, о квартирной проблеме. И Волков, понимал, что наносит удар по этим, никогда не виденным им людям.

Он тоже разоткровенничался. Начал жаловаться на свою жизнь, на служебные неурядицы, равнодушие жены и сына... Чуть позже ему стало стыдно этих признаний, но Жанна, почувствовав это, обняла и погладила его маленькой рукой по голове, словно ребёнка. Его давно так не гладили, и он успокоился, затих рядом с ней. Показалось, что наконец-то испарилась из сердца необъяснимая застарелая тревога...

— Спасибо тебе,— он поцеловал её теплую руку.

— Не за что,— она улыбнулась и опять погладила его по седющим мягким волосам.

Он вспомнил, что завтра ему ехать в Москву на семинар и сказал ей об этом.

— Как вернусь – сразу позвоню, – заверил Волков, одеваясь в предутреннем сумраке.

— Не надо слов и обещаний, – сказала Жанна. Она быстро оделась и вскоре уже стояла у двери. – Заводите лучше машину, Игорь Петрович. Возвратите меня в семью, а то она, не дай Бог, пойдёт под откос...

— А может и лучше, коль так? – спросил Волков, обнимая Жанну и целуя её в шею. – Не пустить ли нам другой поезд?

— Не надо, – она отстранила его и уверенно пошла к одиноко стоящей у забора «Тойоте».

Когда они поехали по пологому берегу Дона и до моста оставалось совсем немного, Жанна попросила остановить машину. По песчаной косе пошла к воде. Волков догнал, зашагал рядом.

— Спасибо вам, за эту встречу, – вдруг тихо сказала Жанна, глядя на полоску утренней зари, что всё смелее и смелее разгоралась над Доном. – Я запомню, всё запомню...

— Зачем так трагично? – попытался пошутить Игорь Петрович. – Всё будет, как говорится, хорошо...

— Хорошо, – раздумчиво сказала Жанна, и он не понял, то ли она продолжает его мысль, то ли восхищается тихим утром. – Езжайте в свою командировку и ни о чём не думайте...

— Приеду – обязательно позвоню. Нам надо о многом поговорить, – твёрдо, без улыбки сказал Волков и первый пошёл к автомобилю.

Уже сидя за рулём, он увидел, как там, у реки, она резко повернулась, словно прощаясь с зарей, отражённой в воде, и пошла к нему. Полы её жёлтого, давно высохшего плаща на секунду распахнулись, и Волков еще раз увидел, как она стройна, по-девчоночьи стремительна.

... Игорь Петрович не заметил, как дошёл до моста. На его середине, там, где неделю назад он впервые обнял дрожащую от холода Жанну, остановился и посмотрел вниз. Новая утренняя заря зарождалась над Доном, который величаво и неторопливо нёс свои воды к Азовскому морю. Но Игорь Петрович знал, какое сильное течение бурлило в глубине реки.

Перед рассветом

Перед самым рассветом мне приснился сон.

Будто я возвращаюсь с фронта июльским днем сорок пятого...

Пыльная сельская улица освещена ярким солнцем. Я иду с вокзала домой, в деревню, где родился в январе сорок девятого и где не живу уже много лет.

Рядом со мной, тоже в военной форме, идет женщина - светловолосая и коренастая, с легкой улыбкой на смуглом лице. Она одета в яловые солдатские сапоги, и полы ее юбки защитного цвета хлещут по кустам созревшей полыни. Я не знаю, кто эта женщина, сколько ей лет и почему она идет рядом. Я не вижу ее лица, но знаю, что она похожа на мою покойную мать, девчонкой всю войну проработавшую в колхозе...

Мы заходим в наш двор и садимся на деревянную скамейку в старом яблоневом саду, посаженном отцом в начале шестидесятых. Мы сидим и ждем, что кто-то выйдет во двор из открытой двери нашей саманной хаты, но никто не выходит.

— Вот и все,— говорю я и утираю ладонью пот со лба,— вот и все...

Женщина сидит рядом, и ее красивое лицо осеняют веселые солнечные лучи. Она поворачивается, кладет руки мне на глаза, и я чувствую прикосновение мягких холодных губ к моей щеке. Потом она встает и через открытую, слегка покосившуюся калитку уходит на улицу. «Не уходите!» — хочу закричать, но голос меня не слушается, и я лишь шевелю губами...

Уход женщины огорчает меня так, словно я теряю самое важное в своей жизни. Мне вдруг не хватает воздуха, и... я просыпаюсь с бьющимся сердцем и испариной на лбу.

В комнате еще темно. Рядом бесшумно спит жена. Лишь одинокая неведомая звезда, напоминающая взгляд женщины из только что увиденного сна ласково заглядывает в окно.

В тиши комнат под тиканье часов я лежу с открытыми глазами и думаю о своем сне.

О чем он, зачем? Может быть, он – результат генетической памяти о моем дедушке, погибшем на Курской дуге, которого я никогда не видел? Или, может быть, сон – святая затаенная зависть к поколению людей, защитивших Родину, погибших, но сделавших главное дело в своей жизни?

А кто была та женщина? Случайный ли это образ, или это голос судьбы, возвещающий о приближении Вечности?

Ужин при свечах

Александр Андреевич Проханов настолько талантлив, что, участвуя в различных телепередачах, он изъясняется так красочно, так образно, что и присутствующие в студии, и телезрители чуть ли не вживую представляют картину, которую живописует писатель.

Мне запомнилось, как он делился впечатлениями о погибшей в аваикатастрофе над Чёрным морем докторе Лизе – Елизавете Глинке.

Наверное, этот случай Проханов когда-нибудь вспомнит и сам блестяще опишет в какой-нибудь книге или в своей газете «Завтра». А может и забудет... Мне захотелось восстановить этот краткий рассказ, чтобы люди не забывали о подвижнической роли настоящего патриота России, большого русского писателя Александра Проханова, а также помнили маленькую хрупкую женщину с огромными детскими глазами, спасшую немало мальчишек и девчонок на горящем Донбассе.

... После страшных боёв на высоте Саур-Могила Александр Андреевич поехал туда, в зону только что затихших сражений. Он вдохнул запах гари, увидел исковерканные, посечённые снарядами памятники бойцам Великой Отечественной войны, склонив голову, постоял у свежих могил детей, стариков, женщин.

Его, прошедшего Афганистан, две Чечни, Югославию, потрясло увиденное, напрочь опрокинуло сознание: славяне убивали славян!

Писатель встретился с ополченцами, жителями осаждённых посёлков и деревень, услышал плач ребятишек и их мам, выходящих из подвалов на несколько минут подышать свежим воздухом, пока не стреляли орудия ВСУ...

К вечеру крайне уставший, немолодой, грузный Проханов вернулся в маленькую донецкую гостиницу, ещё не разрушенную снарядами.

В небольшом полуподвальном помещении работало кафе, и Александр Андреевич зашёл туда, чтобы перекусить: с утра у него маковой росинки во рту не было.

Но войдя в эту сумрачную комнату, освещённую восковыми свечами и потому похожую на уголок церкви, он вдруг почувствовал, что у него совсем нет аппетита. Проханов подошёл к стойке буфета и заказал водку и томатный сок. Ему налили и то, и другое, и писатель, взяв оба стакана, вернулся на своё место в зале.

Он сел за низкий столик, покрытый газетными листами и огляделся. У Проханова было плохое зрение, и он смутно различал людей, находящихся в кафе. Все они говорили вполголоса – видимо, привычка войны, и Александр Андреевич опять ощутил церковную обстановку.

Он выпил водку, но ему не стало легче. Лишь где-то в глубине души проснулись строчки, готовые лечь на бумагу. Ему отчасти всё же удалось очнуться от пережитого, тяжелого, страшного, всего того, что он увидел за день. Но чувство беды, горечи и тоски не проходило, и различные звуки: истошный плач женщин, хриплые, простуженные голоса ополченцев, крики испуганных взрывами детей всё ещё томили душу Александра Андреевича.

И вдруг что-то произошло. Будто внезапно стало теплее, а свечи стали гореть ярче. Он ещё не знал что изменилось, но явно, почти физически ощутил приближение этой теплоты и этого света.

От стойки буфета к нему подходила женщина. Он узнал её, когда она приблизилась. Доктор Лиза. Они были знакомы с того времени, когда в Кремле слушали Президента России, а до этого почти мимолётно встречались под Дебальцево, когда Елизавета Глинка вела группу раненых детей к автобусу, чтобы отправить их в Ростов-на-Дону, а он шёл среди разведчиков Моторолы в сторону передовой.

Теперь доктор Лиза быстро подошла к Проханову, он не успел подняться навстречу, и она положила руки на его плечи. Он поднял голову, и они молча смотрели друг на друга. Доктор Лиза

вдруг обняла его маленькими тёплыми руками, слегка наклонившись, поцеловала в висок и быстро пошла к выходу...

Она спешила. Её опять ждали дети – ради этого она и приехала в очередной раз в зону боёв.

Прошло несколько минут, и Проханов вдруг почувствовал, как с души медленно скатывается тоска и начинает гаснуть ощущение беды. Писателю показалось, что он принял какое-то лекарство, или ему только что сообщили хорошую новость.

Не было ни лекарств (если не считать выпитую водку), ни вестей, ни тихого голоса доктора Лизы, но её мимолётное прикосновение, её явление ему в полутёмном прифронтовом кафе, словно живая вода воскресили душу.

Проханов встал и уверенно пошёл на улицу, где его ждали люди, где слышались голоса молодых командиров, готовящих группы вооружённых людей, чтобы увести их в холодную темноту ночи на защиту своих домов, своего Донбасса, воспетого в десятках советских песен...

Маэстро

Когда-то мы работали с ним в главной областной газете. Я был молодым, начинающим собкором, он – заведующим одного из основных отделов. За глаза и в глаза его называли «Маэстро». Он к этому давно привык и принимал это прозвище, как имя.

Приезжая на совещания, я видел его равнодушные глаза, небрежно оттопыренную нижнюю губу, розовую родинку на подбородке, вечно дымящуюся сигарету, схваченную крепкими желтоватыми зубами.

Он небрежно делал нам, собкорам, замечания, безбожно кромсал привезённые нами материалы. Однажды так сократил мою корреспонденцию об уборке кукурузы, что едва не рассорил с первым секретарём райкома партии того города, где я жил...

А ещё Маэстро был любитель женщин. Его и близко нельзя было причислить к красавцам, но... Многие журналистки, корректорши и машинистки по нём сохли. Маэстро их не обижал...

У меня не было к нему чувств вражды, страха или зависти. Он был талантлив даже в том, чтобы не вызывать этих чувств у коллег.

Через несколько лет его забрали в «Известия», а меня назначили на его место. Поговаривали Маэстро приложил руку к моему выдвижению, хотя месяца два до этого я ему в горячке сказал:

— С правкой моего репортажа не согласен!

— Так надо, Толя, так надо, – не поднимая глаз от стола сказал он, а потом вдруг посмотрел на меня своими светлыми, почти водянистыми глазами. – Ну не влезал материал на полосу, а тема позарез нужна. Ты уж извини, старик...

— А ты возьми и сам напиши, – меня откровенно понесло, – покажи нам, молодым, как надо...

Он давно не публиковал своих материалов и его явно задело моё замечание.

— Поработай с моё, а потом подавай голос, – почти грубо сказал Маэстро, уткнувшись в очередную рукопись, – свободен!

Я вышел из кабинета, чересчур громко хлопнув дверью...

И – о, чудо! Через пару недель Маэстро выдал прекрасный аналитический материал о проблемах мелиорации. Публикацию тут же повесили на «Красную доску». Вскоре он опубликовал ещё несколько отличных статей. По одной из них собрали бюро обкома и выгнали с работы первого секретаря Северного райкома партии. Вот так! После этого мне стало неловко за сцену, устроенную в его кабинете...

Прошли годы. Распался Советский Союз. По сути дела рухнула и наша когда-то одна из лучших региональных газет. Маэстро ушёл на пенсию, а я до сих пор работаю главредом в одной из ведомственных многотиражек.

Много лет мы не виделись. И вдруг недавно, когда в выходной день я ехал на дачу, в машине зазвонил мобильник. Я остановился на обочине и взял трубку.

– Это ты? – услышал я знакомый хриловатый голос без всяких «привет» и «здорово».

– Я, что случилось? – мысленно я прикинул, что не видел его уже лет восемь.

– Да ничего, слава Богу...

Маэстро немного помолчал, потом сказал:

– Понимаешь, сегодня ночью я внезапно проснулся от того, что незнакомый женский голос произнёс: «Позвони Анатолию...» И фамилию твою назвала. Голос прозвучал так чётко, что я испугался. Так у тебя действительно всё в порядке?

– Да, всё нормально, – я слегка оторопел от слов Маэстро, не зная в каком тоне продолжать разговор.

Поблагодарил его за эту тревогу обо мне. Он начал рассказывать, с каким трудом разыскивал мой телефон: и тому звонил, и этому, и в прежнюю редакцию заходил.

Я поинтересовался, как он живёт. Маэстро помолчал, потом выдохнул:

– Существую, – он сказал обычным хриловатым, но как бы простуженным голосом, так не похожим на уверенный, почти дикторский, которым он озвучивал когда-то свои впечатления о наших материалах на редакционных семинарах, – пенсио-

нерствую. Пытался писать в бывшую нашу газету, но там другие люди, другие темы... Сам всё знаешь. Умерла журналистика, старик...

Маэстро опять помолчал, потом сказал:

— В общем, ты там поосторожней.— Мало ли что...

Было раннее утро. За окном автомобиля в туманной дымке до самого горизонта тянулось густое, созревшее пшеничное поле. Где-то в придорожной траве стрекотали кузнечики. Стая воробьёв метнулась в сторону леса.

Птицы живут вместе, подумал я. Вместе они и в беде, и в радости. Жаль, что у людей так получается редко...

Прикоснись осторожно...

В юности, да и позже я стеснялся красивых девушек. Стеснялся до дрожи в коленях, хотя с виду был бойким и говорливым парнем: читал стихи со сцены, участвовал в интермедиях и спектаклях, был секретарём комитета комсомола самой большой школы района. Боялся подойти к такой и заговорить, нерешительным выглядел на танцах в совхозном клубе.

Теперь, когда жизнь, скорее всего, отсчитывает последние годы моего пребывания на грешной и прекрасной земле, я могу ответить на вопрос: почему так происходило. Я, конечно, не открою Америку: ситуация банальная - просто боялся, что мне откажут. И всё же – я жил в мире одухотворённой юности, в которой жили многие мои сверстники и, слава Богу, во мне этот мир существует до сих пор! Для нас, пацанов, девочки, особенно красивые, скромные и любимые были восторгом и радостью. Они вызывали чувство восхищения, надежды, мечты, мы относились к ним как первоцветам весны, смотрели на них, словно на свет далёких звёзд.

Мы не могли запросто прикасаться к ним и потому, что олицетворяли себя с рыцарством и мужской сдержанностью.

Это состояние тайной любви жило во мне долгие годы.

Теперь, я благодарю Господа, что так было... Иначе я не познал бы, не почувствовал аромата юности, не запомнил хороших людей, которые встретились мне в начале пути.

Конечно, я был наивен. Несомненно, та, на которую я со вздохом поглядывал, наверное, с досадой ждала моего признания. Не смог. Не решился. Недавно вспомнил свою школьную любовь, вспомнил её маму, весёлую совхозную почтальонку тётю Шуру и написал:

«Тётя Шура, почтальонка!

В вашем доме есть девчонка.

*Дочка милая, смешная.
Лучше всех – я это знаю!»
Этих слов я не сказал,
И стихов не написал.
Не решился. Не посмел,
Лишь потом я
пожалел...*

Иногда, гуляя в парке, вижу, как открыто милуются молодые. А точнее – юные. Совсем юные, положив у ног рюкзак с учебниками. Только что «оперившаяся» красотка, закрыв глаза, и, запрокинув голову, с придыханием отдаётся в поцелуе стриженному, раскрашенному татуировками парню, коршуном нависшему над нею...

И в моё время были, так сказать, раскрепощённые молодые люди. Но не до такой же степени!

«Нам как аппендицит поудалили стыд – писал Андрей Вознесенский. – Бесстыдство наш удел...»

Эх, молодость! Если б ты знала, что хорошо и что плохо, если бы старость могла тебе помочь в этом разобраться!

В книжку – про Аришку

В МАГАЗИНЕ

В магазине у пятилетней внучки Арины глаза разбегаются: мы подошли к отделу игрушек.

— Дедушка, это можно? – Арина берёт в руки синего крокодила.

— Можно.

— А это? – указывает внучка крошечным пальчиком на пластмассовый пистолет.

— Бери.

— А это? – Ариша обеими руками вцепилась в жёлтый объёмистый самолёт. Игрушка явно не для девочки, да и цена у неё «кусается».

— На самолёт у меня денег не хватит, – откровенно говорю я, ощущая скорое падение своего «рейтинга» в глазах любимицы.

— Ладно, – вздыхает девочка. – Эх, был бы ты Хоттабычем, наколдовал бы много-много денег...

Ариша ещё раз окидывает взглядом разноцветье детского отдела и, погладив игрушки, лежащие в магазинной тележке, улыбается.

Хорошая внучка!

ПОМОЩНИЦА

Когда Арише было два с половиной года, она вместе с мамой приехала к нам на дачу. А я как раз собрался убрать подальше кирпичи, оставшиеся после постройки сарая. Собирал их стопкой и относил под большую бочку с водой, лежащую на каменных опорах.

Кирпичей было штук тридцать. Пока я закончил дело, вспомнил. Умылся под рукомойником и пошёл в комнату смотреть футбол по телевизору. После завершения первого тайма выхожу во двор и млею. Почти все мои кирпичи вновь лежат на старом месте. Из-под бочки Ариша тащит последние две половинки.

— Внученька, зачем ты это делаешь? – спрашиваю я, пытаюсь выхватить из крошечных ручонков тяжёлые кирпичи.

— Я сама! – кроха решительно ускоряет шаг, но вдруг спотыкается, и сердце у меня падает от страха.

— Да ты, что, дедушка, – Ариша поднимается, вновь хватается за кирпичи, – я же тебе помогаю...

— Спасибо, моя хорошая, – я сажусь на порог и со страхом смотрю, как Ариша, укладывает последнюю половинку. Помощница!

КАК Я БЫЛ СКАЗОЧНИКОМ

Ариша привыкла тянуть с отходом ко сну. Нередко, лежа в кровати пять-десять минут, вдруг заявляла, что хочет есть, и под этим предлогом, шлёпая босыми ножками по ламинату, отправлялась на кухню. Бабушка бросала мыть посуду и начинала кормить внучку. Арина делала вид, что ест, но количество пищи в тарелке практически не уменьшалось. Такую картину наблюдать можно было довольно часто.

— Слушай, Ариш, а хочешь дедушка расскажет тебе сказку? – спросила однажды жена.

— Хочу, – глаза у внучки, вяло жующей огурец, загорелись – а про что?

— Иди в постельку, дедушка скажет про что... Толь, подойди к Арише..., – кричит мне сообразительная супруга.

Я всё слышу. Бросаю свои шахматы и иду в спальню. Мимходом «благодарю за доверие» жену:

— Вспомнила, как Мишку укладывали спать?

— А какая разница. То – Мишка, а теперь Аришка... Давай, давай, на то ты и писатель.

— Ну что тебе рассказать, солнышко? — я склоняюсь над внучкой, а потом осторожно ложусь рядом с ней.— Хочешь про медвежонка Пуха или Дюймовочку?

— Нет, не хочу,— решительно говорит Ариша,— они мне в мультфильмах надоели. Расскажи что-нибудь ещё...

— Хорошо. А кто в нашей сказке будет? Волк, лиса, заяц?

— Да, пусть они. А ещё — жёлтая машина, пароход и ... — внучка задумывается,— самолёт.

Вот тебе раз. Задание не из простых. Впрочем, внук Миша тоже самое со мной вытворял несколько лет назад, и я начинаю.

— Однажды Волк поехал в гости к Лисе на жёлтой машине, но на повороте она попала колесом в яму и сломалась. Что делать? Тогда Волк побежал на пристань и, сев на большой пароход, поплыл к Лисе.

— А Заяц? — зевнув, спрашивает Ариша.

— А Заяц был капитаном этого парохода. «А ну давай быстрее плыви,— крикнул Волк Зайцу,— а то я тебя съем...»

— Дедушка, если он его съест, то кто же будет рулить пароходом? — веки Ариши двигаются всё медленнее и медленнее.

— Нет, Волк просто так сказал,— успокаиваю внучку.— Пошутил.

— А потом? — Ариша спрашивает уже с закрытыми глазами.

— А потом Волк пересел на самолёт и полетел к Лисе над лесами, горами, реками...

Фантазия моя, конечно, не блещет, можно сказать, иссякает. Слава Богу, внучка заснула. Она легонько вздыхает и поворачивается на правый бок, сложив ручонки под щекой. Наверное, сейчас Ариша видит продолжение сказки.

Таких историй при усыплении Ариши было немало. Она называла мне действующих лиц, предметы, и сказка начиналась. Нередко я сам хотел спать, поэтому сюжет у меня выходил «не ахти», повторялся, а то и был откровенно графоманским.

Слушавшая мои придумки-экспромты жена как-то сказала:

— Ты вот что, литератор. Заранее сюжет придумывай и записывай. Тогда интереснее Аришке будет...

— Я — не детский писатель,— отвечал я вяло, полусонным выбираясь из спальни, где внучка, убаюканная моей очередной придумкой, сопела носиком.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

— Ариша, ты меня любишь?

— Сейчас — не особенно.

— А когда особенно?

— Когда не кричишь...

Да, не в лоб, а в глаз! А вроде бы не обращает внимания на наши с женой пикировки...

ПЕРВАЯ ДРАМА

Когда мама привела Аришу из садика, девочка долго сидела на диване, о чём-то размышляла. «Уж не заболела ли? — затревожилась мама, удивляясь, что столь любимый Аришей компьютер сиротливо стоял с выключенным экраном.

— Мама, напиши мне надпись,— наконец сказала пятилетняя дочка.

— Какую? — мама удивлённо остановилась посередине комнаты.

— «Костя, я тебя не люблю». Так и напиши...

— Зачем? — мать сдержала улыбку.

— А я завтра эту надпись Зайцеву покажу. Чтоб знал, как со Светкой играть...

Средняя группа детсада. Читать ещё не умеем, писать тоже. И уже переживаем первую драму в жизни. Можно улыбнуться, а можно и задуматься... Жизнь идёт!

ПОВЕСТЬ

Поезд в деревню

До конца, до тихого креста
Пусть душа останется чиста!

Н. Рубцов.

Вечером они опять поссорились. На этот раз ссора была особенно нелепой — из-за Маринкиной игрушки. Днём на базаре Галина купила пластмассового Бармалея. Годовалая внучка взяла его в руки, повертела и вдруг громко заплакала.

Андрей Сергеевич, оторвавшись от газеты, взглянул поверх очков в коричневой роговой оправе и раздраженно буркнул:

— Ну вот, неужели нельзя было купить что-нибудь получше — ерунду какую-то взяла. Маришка заикаться от страха будет. Не понятно, что ли?

— А ты понятливый — вот и шёл бы сам покупал, — огрызнулась Галина. — Да куда там! Ты и дорогу в магазин не знаешь. О внучке заботишься, а хоть раз посидел с ней? Только обещаешь детям, что все будет в порядке, а как этот порядок достается...

Жена не договорила, всхлипнула и, резко повернувшись, ушла на кухню, оглушительно загремев там кастрюлями.

Дети — сын Николай и невестка Любочка — дня три назад уехали в очередную «челночную» командировку. Андрей Сергеевич вспомнил, как Галина долго и обстоятельно давала им наставления, почём что брать, куда прятать деньги, и чертыхнулся. Суета со всеми этими «купи-продай» до глубины души раздражала его, всю жизнь проработавшего дежурным по станции. Он долго противился бизнесу, которым решило заниматься семейство. Противился до тех пор, пока однажды после Колькиной свадьбы Галина не спросила его: на что и где будут жить молодые? Чем они, родители, им помогут?

На сердце тогда нахлынул стыд за то, что ничем особенным он, Андрей Сергеевич, лично помочь сыну материально не мог.

И он махнул рукой, когда Галина бросила свой медпункт и подалась на рынок, потащив за собой молодых.

Ему не спалось. Не могла, видимо, заснуть и жена, ворочаясь с боку на бок. Только Мариночка, их любимый человечек, спокойно посапывала в своей кроватке с резиновыми колесиками, стоящей возле постели со стороны Галины.

Прогудел скорый. И затрясся по рельсам совсем рядом. В сотне метров — вокзал. Там работа Андрея Сергеевича. Каждую смену он в своей красноверхой фуражке встречает и провожает поезда. Который уже год...

Да, Андрею Сергеевичу не уснуть. Что-то в последнее время беспокоит его и сегодня — больше, чем обычно. Он упирается локтем в край постели и осторожно встаёт. Затем, выставив перед собой руки — чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте, идёт на кухню.

На кухне, не включая света, он подходит к окну и смотрит на улицу. Осенние звезды сверкали в тёмном небе над спящим городом, и одна из них, как показалось Андрею, самая большая и чем-то знакомая, по-женски ласковая, особенно ярко мерцала ему из далёких глубин Галактики.

«Вот она, звезда моего детства, — подумал он. — Когда я видел её раньше? Где? Может быть, в ночном, рядом с отцом? И почему эта звезда явилась мне через столько лет? Почему так долго я не видел её?»

На стене мерно тикали часы. Андрей Сергеевич открыл форточку, присел возле батарей отопления на низенький старый табурет и закурил. В последнее время он любит сидеть здесь и думать о жизни. Отсвет неоновых витрин с улицы мерцает на стеклянной посуде, стоящей в шкафу, размеренно преломляясь качанием верхушек старых тополей за окном... В такие минуты Андрей улетает в годы своей молодости. Он вспоминает, как отец Галины построил им этот когда-то шикарный дом из красного кирпича под белой шиферной крышей. Теперь дом осел, крыша поблекла, а кое-где и потемнела. Но тогда дом, словно сказочный замок, возвышался над бараками и двухквартирными домишками станционных рабочих.

Поначалу это смущало Андрея, вчерашнего колхозного тракториста, с рождения восемнадцать лет прожившего в деревне и ставшего вдруг горожанином. Но позже, вспомнив старый спор с отцом, он воспрял духом.

— Нигде тебе не будет лучше, чем дома, — не раз упрямо и не совсем трезво твердил отец, так как подобные разговоры он затевал чаще всего на праздники.

За всю свою жизнь отец только три раза покидал родную деревню: в сорок третьем, когда уходил на войну, в пятьдесят восьмом, когда ездил в соседний райцентр хоронить однополчанина, и вот теперь, когда на электричке вместе с женой приехал на свадьбу сына в город.

— Жить надо, где родился, — подвыпив, опять завёл свою шарманку батя, — иначе это не жизнь, а сплошное недоразумение. Ожидание сам не знаешь чего. Вдали от корней не у всех душа распрямляется...

Говорил он это за свадебным столом вполголоса, кроме Андрея отца никто из гостей не слышал, и это радовало сына. Он считал, что отец не прав. Ему, Андрею, повезло. Сразу после приезда из армии, не отдохнув в родительском доме и трёх дней, поехал на курсы механизаторов в город.

Тогда тоже была осень, время бабьего лета — мягкой розовой дымки, осыпания с тополей листьев, шуршащих по асфальту мостовой. Субботним вечером он пришёл на день рождения к своему однокурснику на улицу Баумана, где в саду среди гостей и встретил Галину — черноволосую, рослую, с быстрыми карими глазами девушку. Через неделю она привела Андрея к себе домой. Во дворе большого особняка, в тихом палисаде, увитом хмелем, Галина познакомила Андрея с отцом, полным лысоватым брюнетом с чуть заметной, будто приклеенной улыбкой на большом рябоватом лице.

* * *

Жизнь протянется — всему достанется, не раз повторяла мать Андрея, тихая женщина, вечно боявшаяся своего мужа, хотя он её и пальцем не тронул. Тогда, в детстве, Андрей мало обращал вни-

мания на эти слова, а теперь, перешагнув пятидесятилетний рубеж, понимал: да, так оно и есть. Всем и всему досталось от судьбы.

Давно нет на свете родителей. Отсидев три года за финансовые махинации, умер от рака лёгких всемогущий когда-то тесть. Вырос сын, набежало годков и Андрею с Галиной. Казалось, лишь тёща, словно живая реликвия, застыла без изменения во времени. Андрей помнил её молодой, всегда хорошо причёсанной, в дорогой одежде и курящей папиросы «Беломор». Тёща почти всегда пренебрежительно разговаривала с окружающими.

После всех передраг с мужем тёща жила не в высоком особняке, который конфисковали, а в однокомнатной квартире в центре города и никогда не приезжала к дочери в привокзальный квартал. Андрей Сергеевич по поручению жены время от времени отвозил тёще что-нибудь из вещей или продуктов.

В прихожей его встречала сухая, молодящаяся старуха с накрашенным розоватым лицом в тяжёлом, наглухо застёгнутом бархатном халате. С зятем кроме «здравствуй и прощай» она ни о чем не разговаривала.

«Неужели она ни о чем не хочет поговорить? — думал иногда Андрей Сергеевич, закрывая за собой обитую коричневым дерматином массивную дверь, — Хоть бы про внука спросила. Вот человек!»

* * *

...За окном прогрохотал очередной состав и отвлёк Андрея Сергеевича от воспоминаний. Окно было приоткрыто, осенняя ночь пахла мокрыми прелыми листьями. По дороге, расположенной у самого забора, прошелестели велосипедные шины, послышался мужской голос, потом чуть хрипловато и негромко запела женщина.

Песня о чем-то напомнила, и Андрей Сергеевич потёр лоб, стараясь вспомнить — о чем именно. Он нагнул и подобрал с пола упавший окурок, и, пока вспоминал, показалось ему, что в этот миг кто-то находящийся далеко-далеко подумал о нем нежно и светло. Сердце встрепенулось, и Андрей Сергеевич вскочил

с табурета и заходил по узкому пространству кухни между газовой плитой и столом.

Да, время прошло стремительно. Казалось, совсем недавно вот тут, где стоит газовая плита, стояла плита кирпичная. В ней горели дрова и уголь. И здесь в первые годы супружества мечтали они с Галиной о будущей, казавшейся такой безоблачной жизни.

На этом самом табурете Галина чистила картошку и вслух мечтала о поступлении в медицинский институт. А потом читала стихи. Он любил Светлова, она — Есенина. На кухне, так как поначалу это была единственная мало-мальски обустроенная комната, среди кастрюль и банок лежали книги стихов и того и этого поэта.

Как-то вечером, пока Галина готовила ужин, Андрей с воодушевлением читал вслух стихи. Он рубил рукой воздух, подражая скорее Евтушенко, чем Светлову:

*Барабана тугой удар
Будит утренние туманы.
Это скачет Жанна д' Арк
К осажденному Орлеану.
Двух бокалов влюбленный звон...*

В этот момент в дверь постучали, и тут же кто-то вошёл. Андрей обернулся и увидел Леху. Рыжий, лохматый, он скалил зубы и топтался на месте, разводя руками по поводу своих мокрых ботинок.

— Ну ты даешь, Андрюха — стишки шпаришь, совсем городской стал... Здорово!

Обнялись. Леха был другом детства. Он жил в их родной деревне, пахал землю, учился на заочном в сельхозтехникуме и, судя по всему, был доволен жизнью.

— Ты как сюда, почему не предупредил, не написал? — оторопело спрашивал Андрей, зная большую нелюбовь Лехи к городским поездкам.

— Вышло так, — гость засмутился, но тут же улыбнулся, — одним словом, жениться засобирался я, паря. Вот и приехал вме-

сте с невестой перед свадьбой по магазинам пошататься. То надо купить, это... Мать, тёща будущая то есть, целую тетрадку исписала.

— Так где же невеста-то? — застыла на месте Галина, так и не успев повесить на гвоздь тяжёлый и влажный Лехин бушлат.

— Да тут она, возле хаты вашей. Еле нашли вас в этих улочках-переулочках. Думал, опять заплутались. Сейчас позову, — Леха начал подыматься с дивана.

— Ну ты и балбес, Рыжий, — в сердцах вспомнил детскую кличку Лехи Андрей и уже из коридора крикнул: — Без тебя обойдусь!

Он заторопился, не сразу нашёл ручку двери, но, выходя на улицу, уже знал, кого сейчас увидит.

Женя стояла у забора и, отвернув голову от ветра, куталась в воротник каракулевого полупальто. Она не сразу заметила Андрея, поэтому вздрогнула, когда он взял её за руку.

— Здравствуй, что же ты не заходишь?

— Здравствуй. Да Алексей в разведку же ушёл. Говорит, погоди, может их дома нет. Вот и гожу...

Когда Женя и Андрей вошли в комнату, Леха уже сидел на только что привезённом утром плюшевом, слегка затёртом — подарок тестя — диване и, раскрасневшись от тепла, пояснял Галине:

— Так вот эту самую фату и не успели купить. В магазине сказали, завтра с утра, мол, приходите. Покумекали мы с Евгенией и решили к вам на ночёвку податься. Больно уж накладно второй раз из-за этой фаты в город мотаться. Так что извиняйте, земляки, за беспокойство...

— Ну и молодцы, что пришли, — искренне радовалась Галина, хлопоча у плиты. — А ну-ка, Андрюш, сбегай в магазин. Сейчас пировать будем.

Леху Галина знала хорошо. На их с Андреем свадьбе Леха здорово выручил — до синевы в пальцах шуровал на своей хромке, всем влез в душу и игрой, и развеселыми, по-деревенски разухабистыми частушками.

Через час они успели выпить, закусить жареной картошкой с солеными огурцами и разговориться. Пока словоохотливый

Леха рассказывал про своё житье-бытьё: и корова у него с весны стельная, и кур прорва, и поросенок в закуте хрюкает, Андрей искося посматривал на Женю. Она больше молчала, лишь изредка включалась в разговор жениха с хозяевами дома.

Что у неё на душе? Может, забыла все? Может...

* * *

Перед самой армией бригадир послал колхозного тракториста Андрея Путилина привезти на своём С-100 с прицепом семени озимой пшеницы из райцентра. В напарницы дали лаборантку зернотока Женю Костину. Бюрократов на элеваторе хоть отбавляй, поэтому когда загрузились и тронулись в путь, стало темнеть. Ко всему тому пошёл вдруг сильный и холодный дождь. На раскисшей грунтовой дороге трактор то и дело сползал в глубокие колеи, мотор работал на пределе, и, казалось, вот-вот сорвётся его трескучий и натужный рёв. Вскоре случилась авария. На повороте трактор занесло и, налетев на большой валун, он замер на месте — лопнула правая гусеница.

— Все, приехали, — осмотрев поломку и возвратившись в кабину, чертыхнулся Андрей. В ярости он ударил по безжизненным рычагам, и в наступившей тишине они жалобно скрипнули под его сильными руками.

— А что же теперь делать? — спросила Женя со страхом.

— А ничего. Ждать. Утра. Кто сейчас по этой дороге поедет.

Андрей по-хозяйски задраил пустыми мешками щели в дверях и посмотрел на Женю. В широкой кабине она казалась особенно маленькой, почти ребёнком, и ему стало жаль её, испуганную и продрогшую. Она и впрямь дрожала то ли от холода, то ли от той ситуации, в которой они оказались. Сколько раз она мечтала остаться наедине с Андреем. Но он даже ни разу не проводил её, лишь как-то пригласил на танец в клубе, вскоре забыв об этом и совершенно не предполагая, что творится в душе этой девушки...

— Иди ко мне поближе, — сказал он, расстёгивая старую кожаную куртку на меху. — Да не бойся, не укушу, а то замёрзнешь в своей фуфаячке.

Она хотела отказаться, но осенний ветер завыл за стеклом, по крыше кабины вновь забарабанил дождь, и Женя невольно придвинулась к Андрею. Ему пришлось полуобнять девушку, прижать к своей груди, и он почувствовал, как затрепетало под его ладонью узкое податливое плечо. Лёгкий, чуть пряный запах её волос заполнил пространство вокруг Андрея, и ему вдруг показалось, что он давно ждал этого мгновения, этого спокойствия души, внезапно проснувшейся радости. Такого ощущения у него никогда не было прежде, и он вдруг позабыл и про дождь за стеклом, и про аварию, и завтрашний непростой разговор с бригадиром. Тревоги отлетели, словно чёрные вороны, и время как бы остановилось. Лишь огромные, казалось, бездонные глаза Жени смотрели на него снизу вверх. В каждом, словно две дрожащие луны, отражался луч карманного фонарика, лежащего на сиденье, который Андрей забыл выключить. От неосторожного движения фонарик свалился на пол кабины. Андрей чуть отстранил Женю и нагнулся за ним, почти коснувшись лицом сведённых упругих колен девушки. Теперь она сверху вниз неотрывно смотрела на него...

Он не помнил, как все произошло. Он что-то говорил, она отвечала. Это были слова быстрого признания, внезапного откровения с обеих сторон, хотя, когда её горячее дыхание забило в виски, а стук обоих сердец слился воедино, какая-то необъяснимая пока тревога, похожая на угрызение совести, кольнула его под левой лопаткой, но тут же улетучилась...

* * *

За всю ночь Андрей с Лехой почти не сомкнули глаз. Когда Галина увела Женю спать, допивали остатки «Экстры», вспоминали детство, родителей, школу.

— Всё-таки добился своего, — намекая на предстоящую женитьбу, — вдруг перевёл разговор Андрей. — Как же ты добился?

Леха внимательно посмотрел на друга сразу протрезвевшими серыми глазами и, потупив взор, выдохнул:

— Интересно тебе? Ну что ж: ай не знаешь? Зачем спрашиваешь, если знаешь, что ходил я за ней, словно тень, сколь себя

помню. Ходил возле, не дышал. Думал: разве такая королева до меня снизойдёт...

Леха замолчал, словно в горле у него появился ком, повертел в коротких мозолистых руках вилку и продолжал:

— Я ведь понял, когда ты ушёл в армию: между тобой и Женей произошло что-то серьёзное. Все два года, пока ты служил, не подпускала она к себе никого. Я-то знаю, что думала она о тебе, письма ждала. А ты поганой бумажки пожалел... Я радовался, конечно, что не было от тебя писем, но и жалел её. Честно скажу, паря, хоть и друг ты мне старинный, но хотел пришибить тебя, как придёшь со службы. Может быть, так бы и сделал, да быстро ты в город шмыганул, а потом и Женя бы этого не одобрила. Ведь любила она тебя всерьёз. Да и нынче аж вся затряслась, когда я подвёл её к вашему дому.

— Специально привёл, — понял Андрей, — чтоб совесть потом была чиста. Так?

— Так. Догадливый ты. Только про совесть, что касается Женьки, ты уж лучше помолчи...

Андрей хотел возмутиться, дать Лехе отповедь, но увидев его опущенную голову вдруг понял: а ведь прав Леха. За все время после той ночи в кабине трактора он всерьёз не подумал о Жене, о том, что она чувствует, как живёт. Не ответил на её письма, которых, кажется, было три... Конечно, о том, что по отношению к Жене он поступил нехорошо, Андрей догадывался и раньше, просто не мог себе до сих пор признаться в этом.

Когда человеку открывается чёрная сторона жизни? Одному раньше, другому позже. В день, когда сыну исполнилось восемь лет, Андрей подарил ему велосипед. Два дня радостный Колька гонял на нем по двору, по улицам, а на третий Галина послала сына в магазин купить хлеба. Колька поехал на велосипеде. И пока он стоял в очереди, отцовский подарок украла.

Домой Колька пришёл тихий, безмолвно отдал матери сетку с хлебом и ушёл к себе в угол. С тех пор что-то изменилось в характере сына. Он стал реже смеяться...

— Ладно, лекции тебе читать не буду, — Леха поднял голову и разлил остатки водки по стаканам, — не за тем приехал. На свадьбу вас с Галей приглашаю. Когда? На Покрова и сыграем.

И не дождавшись ответа, вдруг горячо заговорил:

— А ты хоть знаешь, что она, Женька-то, можно сказать, спасла меня. Точно. Когда мать схоронил — отец, ты знаешь, в могиле ещё с тех пор, как мы с тобой беспортошными бегали, запил я, Андрюха. Никого ведь на свете. Был старший брат Серега, да помер где-то на Севере. Замёрз вроде, писали нам. Одним словом, крепко я запил. Ну, а в пьяном виде меня мёдом не корми — дай подраться. Вот и нарвался на своих снова. Схлестнулся в пивной с приезжими шоферами. Так отделали, что пришлось две недели в райцентровской больнице отваливаться.

Лежу как-то в тоске и печали, подходит медсестра и говорит: к вам посетитель. Гляжу и глазам своим не верю: входит в палату Женька. Входит и будто солнышко с собой несёт... Потом ещё два раза приезжала. Ну вот так и пошло. Я, откровенно говоря, до сих пор не верю. Проснусь иногда среди ночи и думаю: в яви это все или во сне. В общем, пожалела она меня, паря, но гадом буду, а все сделаю, чтоб и полюбила тоже...

Рано утром Андрей проводил гостей до автобусной остановки. Автобус подошёл на удивление быстро, Женя села у самого окна, и Андрей, пока входили и рассаживались остальные пассажиры, смотрел на неё, молодую, светловолосую, деревенскую. Она улыбнулась ему, но в глазах её была грусть. В глазах он прочёл прощание и... прощание. Он смотрел в её большие карие глаза до тех пор, пока автобус не тронулся и не скрылся за поворотом.

* * *

Теперь, пятидесятилетним человеком, сидя в тёмной кухне старого дома, где давно уже не было лада, ему до обидного простой показалась мысль: тогда, в тот миг, когда автобус с Женей свернул за угол дома, и закончилась его радость, его душевный свет.

«Как мне трудно, как тяжело жить, — горько подумал Андрей Сергеевич. — Этот разлад в семье, эти вечные ссоры и недомолвки. Жизнь почти прошла, во всяком случае ушли лучшие годы, а что он? Кто он? Мужик с жезлом, выполняющий женскую работу в пыльном грязном городе. Отец с матерью тоже были простыми людьми, но они жили на родной земле, которая платила им теплом, давала уверенность в трудную минуту. Говорят, все побеждает любовь. А где она, его любовь? Нет её и наверное уже не будет никогда. А может, настоящая любовь осталась там, с Женей? Жил бы с ней — жила бы и любовь, и счастье было бы и смысл жизни...»

Ему вдруг страшно захотелось туда, в родную деревню, увидеть знакомые дома, берёзовую рощу за околицей, увидеть Женю — пусть чужую жену, пусть постаревшую, но увидеть!

Желание было таким сильным, что у Андрея Сергеевича заболела голова. Но в следующее мгновение пришло решение, и он думал только о нём. Да, надо поехать в деревню. Сегодня. Сейчас. Андрей Сергеевич взглянул на часы, которые освещались светом с улицы. Было без пяти пять. Через тридцать минут пойдёт первая электричка, на которой можно за три часа доехать до райцентра, а там полтора часа на автобусе и — дома.

Дома! Он подумал об этом легко и радостно, хотя толком не знал, стоит ли ещё отцовская хата и по-прежнему ли живёт в ней двоюродная сестра, почтальонка Вера, так и не вышедшая замуж в свои сорок пять лет. Впрочем, какие там сорок пять, ей давно уже за пятьдесят...

Андрей Сергеевич включил на кухне свет, осторожно оделся в слегка освещённой прихожей, крадучись, словно воровал, собрал необходимые вещи в потёртый чёрный портфель и вышел из дома.

* * *

Поезд покачивало, за окном висел серый туман, и под стук колёс Андрей Сергеевич задремал. Может быть, от того, что была осень и запах свежеспаханной земли и сушёного сена проникал в полуоткрытые окна электрички, ему приснилось детство.

...Они с отцом гонят табун из ночного. Отец едет на остро-мордой подвижной кобыле Чернавке, а Андрей — на медлительном мерине Марате. Ночь уже отошла, ослабла, но лик луны и бисер звёзд всё ещё висели на светлеющем небосводе.

Отец запрокидывает непричёсанную кудлатую голову и говорит:

— Видишь, сколько звёздочек? У каждого своя есть. И у тебя тоже.

— А где же она, это которая? — удивляется Андрюшка и тоже всматривается в небо.

— А ты сам определи, — улыбается отец, — моя вон там, слева, за Большой Медведицей...

Андрюшка поворачивает голову в ту сторону, куда указывает отец. На него падают звезды. Они стремительно приближаются, заливая своим светом и табун медлительных лошадей, и придорожные кусты, и ромашковый луг на берегу пруда.

* * *

...Андрей Сергеевич пугается во сне тем давним детским испугом и просыпается. Стучали колеса поезда. Рядом, на соседнем сиденье, плакал ребёнок, и молодая, похожая на цыганку мать, убаюкивала его старой как мир песней:

Баю-баюшки-баю,

Не ложися на краю.

А то серый волк придёт

И Алешку унесёт...

Правду говорят, что все начинается с детства. И душевные страдания тоже. Раньше реже, а теперь все чаще и чаще не то что болит, а как бы ноет в предчувствии чего-то, тоскует сердце. Странно, но Андрей Сергеевич помнил, когда это началось.

Он помнит холодный январский вечер. В хате темно. Лишь уголья в печке щёлкают и время от времени выпрыгивают в поддувало, словно маленькие светлячки, отбрасывая пляшущие тени на сером, кое-где потрескавшемся земляном полу.

Андрюшке только что исполнилось шесть лет. Днём был гость — дядя Костя. Они с отцом выпили за Андрюшкин день

рождения и за старый новый год бутылку самогона. Мать тоже смочила губы «красненькой» — тем же самогоном, разбавленным вишневым вареньем. Ещё утром она подарила сыну кулёк конфет-подушечек и белые шерстяные носки, которые вечерами вязала, сидя на дубовой скамье под образами.

Когда за окном стало темнеть, мать с отцом пошли провожать домой подвыпившего и оттого всегда бестолкового и навязчивого дядю Костю. Керосиновую висячую лампу родители зажечь забыли, и Андрюшка сидит на табуретке у печки в темноте, поджав под себя ноги в новых носках и старых бабкиных галошах. Бабка Груша ушла на посиделки к соседям. У всех свой мир. Только нет никакого мира у него, думает мальчик.

За окном завывает злой ветер, пурга бросает пригоршни снега в узкое, словно бойница, окно саманной хаты, и, пока он вслушивается в это буйство природы, Андрюшке вдруг приходит в голову, что сегодня ему шесть лет. И что больше шесть лет ему уже не будет. Будет семь, восемь, пятьдесят, может сто, но шесть — никогда! И ещё его вдруг осеняет мысль, что когда-нибудь он умрёт. Ведь все умирают...

Для мальчика — это открытие. Сердце его сжимает то ли обида, то ли тоска, которую он никогда не испытывал прежде, и несколько слезинок скатываются по его лицу и падают на ворот ситцевой рубашки. Может, именно так человек впервые ощущает бег времени и свою малость в огромном мире...

* * *

И все же там, в детстве, он хотел бы остаться навсегда, остаться с той надеждой и верой в радость, которой тогда представлялась вся жизнь. Ему помнится утро следующего дня с запахом нагретой печи, горячих блинов и яркого солнечного света, всю брызжущего из окон-бойниц сквозь мастерски расписанные морозом серебристые снежные узоры.

В последнее время Андрей Сергеевич жалеет, что он не верующий. Раньше, как и большинство людей, он жил с надеждой на светлое будущее. Позже, когда все закачалось и рухнуло и он окончательно понял, что шёл не туда и верил совсем не тому, стал

жить ради семьи. Но случился долгий разлад с Галиной — его замучила её неоправданная ревность, мелочные упрёки, мещанские замашки, — и он махнул рукой и на это и думал только о подрастающем Кольке. Теперь и сыну он, похоже, не нужен.

Ещё совсем недавно, лет пять–шесть назад, выходя с жезлом на перрон вокзала встречать и провожать очередной пассажирский поезд, Андрей Сергеевич видел в окнах вагонов много улыбок, светлых лиц, слышал звонкий смех детей и женщин, шуточки мужчин. Теперь такое в редкость. С каждым днём все больше хмурых, неприветливых лиц, истощённых нервозностью, а то и откровенным озлоблением. Нынешние пассажиры садятся и выходят молча, как бы не видя никого рядом.

Да, Андрей Сергеевич жалеет, что он не верит в Бога. Только в церкви, видимо, можно облегчить и успокоить душу от всего, что видишь в течение дня. В том, что душа пуста к религии, виноваты прежде всего мать с отцом. Так воспитали. Мать, хоть и кроткая норовом и, как полагается, в престольные праздники крестилась на образа, в церкви за всю свою жизнь была считанные разы — может, потому, что ехать надо было аж в город. Отец по натуре неласковый, отъявленный матерщинник, вспоминал Бога совсем по-другому поводу...

Отец умер через восемь лет после матери в одиночестве холодным декабрьским утром. Андрей Сергеевич опоздал на похороны и увидел отца уже в гробу, который стоял в только что восстановленной деревенской церкви. Шла обычная в таких случаях служба: курился ладан, слышался низкий голос священника. Из-за спин старушек в чёрных платках Андрей Сергеевич смотрел в гроб. Под покрывалом угадывались знакомые кривые ноги отца, и сын вспомнил, как прошлым летом, косолапя, отец шёл впереди него к этой строящейся тогда церкви. Он повёл Андрея после посещения могилы матери, которая находилась неподалеку. Почему повел? Ведь был по сути дела неверующим. Может быть, отец стал задумываться о сути жизни и смерти, или это было предчувствие? В последние годы отец был скрытным, неразговорчивым, и ответы на эти вопросы уже никогда не получить. Как и на многие другие. Нет-нет, да и резанёт по сердцу Андрея горь-

кая мысль: и об этом, и о том, и о пятом—десятом не успел поговорить с матерью и отцом...

* * *

В райцентр он приехал, когда солнце уже вовсю по-летнему резвилось над покатыми крышами одноэтажных домов, растянутых вдоль железной дороги, над старым кирпичным вокзалом, водонапорной башней, приземистым продуктовым магазином с вечно разбитыми стёклами — картиной, до мелочей с детства знакомой Андрею. И казалось ему, даже старушки, торгующие на перроне яблоками, были все те же, что и много лет назад.

Автобусная станция находилась неподалеку от железнодорожного вокзала, и, прождав часа полтора, Андрей на скрипучем, с поцарапанными креслами автобусе поехал в свою деревню.

Ему показалось на миг, что время как бы крутанулось назад. И автобус был как в прошлые времена, и дорога все та же — то канава, то яма, и люди, сидящие рядом, казались ему пришельцами из прошлой жизни. Здесь была и старушка с узлами, и дебелая баба со спящим ребёнком на полных руках, и подвыпивший мужик в замызганной и кое-где порванной телогрейке. Осталось только Андрею Сергеевичу превратиться в десятилетнего пацана...

За окном автобуса мелькали знакомые очертания полей, лесополос, а он подумал: «Вот я еду. Зачем? Кто меня ждёт?» И показалось вдруг до дикости странным, что никогда прежде в прожитой жизни он не жалел, не осознавал уходящего, утекающего, словно песок сквозь пальцы, времени.

* * *

Родная деревня возникла на горизонте внезапно словно вынырнула из-за облаков, из-за берёзовой рощи, в которой они с Лехой чуть ли не жили. Вон где-то там стоял их шалаш из свежих берёзовых веток, а в чаще должен был стоять домик лесника — деда Валюхи.

Дед Валюха был дальним родственником матери, и однажды, кажется, на второй год после женитьбы, Андрей и Галина, гуляя по роще, зашли к нему в гости. Дед угостил их грибами и на-

стойкой из дикой малины. Долго, до самых сумерек, рассказывал о житье-бытье в прежние годы, о войне и о том, как доблестно в этих лесах сражались с немцами партизаны, среди которых не последним воякой был и он, дед Валюха.

Андрей и Галина остались у него ночевать. Дед постелил молодым в деревянной горнице, пахнувшей сосновой стружкой и мятой, а сам ушёл на сеновал.

В низкое оконце заглядывали звезды, рядом была тёплая и ласковая молодая жена. Хотелось любить весь мир. Они встали, наспех оделись и ушли бродить между берёз по сумеречному, но уже слегка белёсому предрассветному лесу. Откуда-то из-за верхушек деревьев сверкнула молния, и мелкий дождь зачастил по листьям, по траве, по их вскинутым к небу лицам. Мокрые и усталые, они вернулись в избушку и вновь упали на жестковатый настил, пахнувший сеном и мятой...

Дед Валюха разбудил их только днём. За окном было пасмурно, над рощей плыл туман. Где-то в вышине кричали улетающие к югу журавли. Тогда они были счастливы с Галиной. Почему всё ушло? Куда ушло? Ведь был же момент счастья, был!

Дед Валюха мастерски делал из дерева и жести умывальники. Раз в месяц он продавал их на рынке возле сельмага. Умывальники были классные. Да и на радость дешёвые. Односельчане и жители соседних деревень брали их охотно, чуть ли не в каждом доме стояли дедовы умывальники. Когда дед Валюха умер, все искренне горевали и жалели его.

* * *

Андрей Сергеевич попросил водителя автобуса притормозить километра за три до деревни.

...Он вошёл в рощу, и она показалась ему чужой. Долго не мог найти ни одной знакомой тропинки, хотя уже минут двадцать шёл в глубь леса. Андрей Сергеевич подумал было, что заблудился, но вдруг деревья расступились и возникла поляна, на которой по-прежнему стоял домик деда Валюхи. Он ощутимо врос в землю, и прогнившая во многих местах жестяная крыша почти касалась буйно разросшихся кустов тёрна и дикой малины.

Андрей Сергеевич хотел приоткрыть покосившуюся незапертую дверь, но мешали те же кусты. Тогда он, раздвигая их упрямые макушки, пролез к окну и заглянул внутрь хаты.

Ему показалось, что он видит сон. Все тот же высокий деревянный настил, на котором они спали с Галиной, стоял у стены рядом с дубовым столом, и даже часы с нарисованными кошачьими глазами были те же — они неподвижно висели на стене, окутанные паутиной...

Леху он встретил до обыденного просто. Только вышел из лесу, увидел в поле группу людей, толпящихся у гусеничного трактора с плугом.

— Ну надо же, — разводил руками коренастый человек в кожаном пальто и кожаной кепке, явно начальник, — и как тебя, Спиридоныч, угораздило лемех-то отодрать! Ведь знаешь, что нету запасного. Ну да ладно, давайте приваривать.

Задубасил мотор, засверкала электросварка, и человек в кожаном снял кепку и ладонью вытер пот со лба. Андрей Сергеевич узнал в нем Леху. Рыжих волос на его крупной голове почти не осталось. Леха был лыс, но по-прежнему подвижен, хотя его полноватая фигура, казалось, к этому не располагала.

— Алексей, — позвал Андрей Сергеевич с кромки поля.

Лысоватый крепыш обернулся, внимательно посмотрел на того, кто его окликнул, и решительным шагом пошёл навстречу.

— Здорово, Андрей! С приездом, — без особых эмоций, словно только и ждал появления своего приятеля детства, сказал Леха, протягивая небольшую, плотную ладонь.

— Воюешь тут? — так же отвлечённо, стараясь не выдать волнения, спросил Андрей Сергеевич, — никак бригадирствуешь? Слышал-слышал...

— Бери выше — председательствую, — усмехнулся Алексей, — да только радости от того мало. Деревня нынче в развале. Вон зябь пахать не на чем. Мы-то ещё кое-как выходим из положения, а другие уж и землю побросали.

— Да, трудно живём, — согласился Андрей Сергеевич.

— Скорее — безголово, — с усмешкой отозвался Леха.

Они подошли к трактору. Сварщик уже завершил свою работу и складывал инструменты.

— Ну что, Алексей Иванович, я поехал? — крикнул из кабины тракторист.

— погоди, Спиридоныч, вылезь на минутку, — попросил председатель колхоза.

Пока пожилой, незнакомый Андрею мужик тяжело спускался из кабины, Алексей сказал:

— Ну что, попробуешь? Иль позабыл все?

Андрей Сергеевич поставил на стерню портфель и, сняв плащ, набросил его сверху. В кабине он почувствовал, как слегка дрожат ноги и руки. «Неужто не смогу завести и проехать?» — со страхом подумал он.

Но когда взревел мотор мощного ДТ-75, страх прошёл и Андрей довольно уверенно тронулся с места. Ровная чёрная полоса свежеспаханной земли потянулась за трактором.

Председатель шёл рядом, глубоко засунув руки в карманы пальто. Но когда Андрей всерьёз поднажал и направил трактор по кругу, отстал. Он стоял и смотрел, пока трактор не вернулся с дальнего конца поля.

* * *

Глубоким вечером, наездившись по бригадам на стареньком, но ещё крепком «уазике», они подкатили к кирпичному дому с зелёными ставнями. Алексей заглушил мотор и вылез из-за руля.

— Ну что, паря, пойдём вечерять.

— Так я хотел поначалу в отцовской хате побывать, — Андрей замылся. — Да и удобно ли беспокоить твоих?

— Удобно, удобно, — засмеялся Алексей и, похлопав приятеля по спине, повёл в дом. — Тем более, что Веруня, сестра твоя двоюродная, замуж вышла. Ай не знал? Вот тебе и раз — родственники называются...

В прихожей, пока раздевались и разувались, хозяин успел рассказать, как Веруня решила на такой «подвиг». Из Средней Азии в деревню приехал беженец — плотник Митя, тихий, словно пришибленный, но работающий и, как это ни странно, непью-

щий. Мите было немало лет, но жил он бобылем, так как в Таджикистане в результате бандитского налета потерял жену. Дочь давно жила своей семьёй в Коломне, но к ней Митя не поехал, постеснялся беспокоить, а двинул на родину, в деревню, из которой его увезли семилетним пацаном. Митю определили на постой к Веруне. Уж как он смог подобрать ключи к её сердцу — один Бог знает, но три месяца назад они расписались и теперь живут все там же, в старом доме Путилиных, где родился и вырос Андрей Сергеевич.

* * *

Зашли в дом. Их встретила остроносая и, как поначалу показалось гостю, совсем не похожая на Женю невысокая девушка с длинной светлой косой за спиной. Но вот глаза — точно материнские!

— Знакомьтесь, это Лена, а это друг детства, Андрей Сергеевич, — представил их Алексей Иванович.

— Очень приятно, — напевно сказала девушка чуть наклонив голову, и гость ещё раз убедился: нет, многое у неё от матери.

— Ну что же, дочь, покорми двух старых и мудрых к тому же усталых мужчин, — с улыбкой сказал хозяин дома, потирая руки и проходя в гостиную.

Вымыв руки в ванной, они прошли в большую комнату и уселись на широкий кожаный диван, чем-то неуловимо похожий на хозяина дома. Алексей нажал кнопку дистанционного управления, и засветился экран японского телевизора, зазвучала музыка.

— А где Женя? — спросил Андрей Сергеевич.

— А давай, пока ждём Лену с ужином, по маленькой тяпнем? — словно не слыша вопроса, предложил Алексей.

Он открыл бар в красивой импортной стенке, достал бутылку армянского коньяка и, ловко её откупорив, налил в стоящие на столе, словно специально приготовленные, пузатые хрустальные бокалы.

— За что выпьем? — вопрос Андрея, такой обычный в другом случае, как бы завис в воздухе. Случай все же был необычный. Андрей уже лет десять, после смерти отца, не приезжал в родную

деревню, и то, что когда-нибудь им вдвоём доведётся выпивать в этом доме, никто из них, видимо, и представить не мог.

— А давай выпьем за память, — сказал Алексей. — Ведь как жизнь ни бежит, как ни ломает нас, а все хорошее остаётся в памяти. Детство наше, например. А? Как считаешь?

— Давай, — решительно согласился Андрей. — За память.

Они чокнулись и выпили.

* * *

— Так где же Евгения, — опять заговорил Андрей, закусывая долькой апельсина — неужто на работе до сих пор задерживается?

Алексей обошёл круглый полированный стол, стоящий посреди комнаты, и сел на стул напротив гостя.

— Дело в том, Андрей, что нет Жени, — он помолчал и эта пауза показалась бесконечной. — Умерла она. Заболела и умерла. Послезавтра полгода будет, как это произошло. Хозяин сказал это тихо и, как показалось гостю, с какой-то злой усмешкой, — Ничего нельзя было сделать...

Он плеснул себе в рюмку, потом — Андрею и, поднявшись со стула, хрипло сказал:

— Помянем.

Андрей Сергеевич опрокинул в рот коньяк, но ему показалось, что он выпил воду. Он вновь опустился на диван, позабыв поставить бокал на стол и, вертя его в руках, не знал, о чем теперь говорить. Сердце билось так, как будто он долго бежал и вдруг остановился...

— Жить сначала не хотел, — между тем тихим и внезапно осипшим голосом говорил Алексей. — Ведь все, что в жизни делал, — все для неё, все доказывал, что не зря она меня выбрала. Как умерла, думал все, вслед за ней собирался — тебе первому признаюсь. Но жить надо: и Ленка с Васькой ещё как следуют на ноги не встали, да и люди что скажут! Ведь столько лет шли за мной, верили, надеялись. Не захотел предавать их, особенно в нынешнее время...

— А ты знаешь, — помолчав, продолжал говорить Алексей, — после того, как ушла Женька, перестал я бояться смерти. Видимо, когда исчезает из жизни самое важное, самое главное, что тебя держит на белом свете, то наступает состояние то ли безразличия, то ли безграничной свободы. Вот и живу сейчас — весь такой свободный...

Он закрыл лицо руками.

— Я не знал, ничего не знал, — торопливо заговорил Андрей Сергеевич.

— И потому приехал... к Женьке, — закончил фразу за гостя Алексей Иванович. — Значит, и впрямь не чужой она для тебя была. Но — опоздал ты. Впрочем, я тебе её покажу. Пойдём.

Андрей Сергеевич машинально поднялся и пошёл из комнаты следом за хозяином. Он не успел подумать, как это тот «покажет» умершую полгода назад жену, скорее вообще не понял смысла сказанного, когда они пришли к большому деревянному сараю под шиферной крышей.

Алексей толкнул тяжёлую, обитую железом дверь, и они вошли.

* * *

В помещении было темно, лишь из высокого окна брезжил лунный свет. Алексей щёлкнул выключателем, и Андрей сразу увидел Женьку.

Она стояла в углу сарая, скрестив руки на груди, и прямо перед собой смотрела бронзовыми глазами. Скульптор поработал добросовестно — подметил и характерный жест со скрещением рук, и знакомый завиток волос, всегда выбивавшийся из-под платка.

— Что это, зачем ты держишь её здесь? — оторопело спросил Андрей. — На могилу же надо...

— Там уже стоит почти такая же, специалисты говорят, даже лучше, — Алексей Иванович тоже подошёл к скульптуре. — Заказал сразу в двух мастерских — так получилось. Вот эту — у вас в городе. Думал, какую лучше и быстрее сделают, ту и поставлю на кладбище. Ну вот, а работали почти в один день сразу обе. По-

ставил одну на могилке, а другую куда было девать, не выбрасывать же?

Он сел на деревянный, сбитый, видимо, своими руками табурет и, опустив голову, вдруг громко, по-бабьи, зарыдал.

— Ты извини, — сказал он через минуту, вставая с табурета и вытирая глаза ладонью, — видимо, выпил без закуски, а может твой внезапный приезд на меня подействовал: все же память о прошлой жизни привёз, а значит, и о Женьке — тоже. А в общем я уже оклемался. Работа выручает, дети скучать не дают. Правда, когда совсем тяжело становится, — иду сюда, к ней. Вспомню нашу жизнь, погляжу в глаза её бронзовые, иногда поплачу, и легче на душе становится. Будто и впрямь слышит она меня. И тревоги мои и беды как при жизни на себя берет...

Он вдруг встрепенулся, подошёл к Андрею и положил руку ему на плечо:

— Ну да ладно, пойдем, гость дорогой, в хату, Ленка небось заждалась. Совсем я тебя запечалил...

* * *

Они вышли на широкий двор, освещённый электрической лампочкой, прикреплённой к столбу. Оба остановились и посмотрели в ночное небо.

Казалось, прямо над их головами висел бледноватый диск луны. Не по-осеннему лёгкий, чуть тёплый ветерок равнодушно перелистывал ещё крепкие жёлтые листья растущей возле забора рябины.

И вдруг в этот момент Андрей вспомнил, где он раньше слышал слова песни, которую прошлой ночью за окном его городского дома пела какая-то женщина:

*Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту...*

Да, он вспомнил. Эту песню пела молодая мать, сидя вечерами под керосиновой лампой и стремительно работая блестя-

щими спицами. Мать пела хорошо — высоким несильным голосом, берущим за душу. Маленький Андрюшка в такие минуты затихал и вслушивался. Мать пела и другие песни, но запомнилась почему-то эта. Может, потому, что три года ждала с войны отца. А может, что другое было связано у неё с этой песней...

Однажды, сидя на печке, Андрюшка услышал, как мать тихо заплакала. Он соскочил на земляной пол и бросился к ней. Обхватив материнские колени, тоже заплакал: «Мама, мамочка, не надо, не надо!» Две теплые слезинки упали ему на стриженный затылок, но мать тут же подняла сына на руки, посадила на колени и прижала к тёплой груди. «Ничего, ничего, сыночек, — говорила мать, целуя его в макушку, — все хорошо. Просто взгрустнулось что-то, родной мой...»

Почему тосковала мать? Что не сбылось в её жизни, о чем и о ком она жалела? Что было в её жизни до того, как она встретила отца, с которым в верности прожила всю свою жизнь?

* * *

Была обычная деревенская ночь бабьего лета с чистым звёздным небом, непривычной для городского жителя тишиной, запахами поздних трав и близкого леса.

Андрей Сергеевич поискал глазами ту звезду, которая явилась ему сегодня ранним утром в окне городской квартиры и, обнаружив её, обрадовался. Значит, звезда теперь всегда будет с ним. И ему опять, как и несколько часов назад, показалось, что кто-то далёкий подумал о нем, Андрее, с нежностью и теплотой. Может быть, это подавала сигналы душа матери, единственно-го на земле человека, который по-настоящему любил его в этой жизни.

Звезда продолжала светить спокойно, будто подбадривая, медленно переливаясь разноцветьем радуги далёкого Космоса.

Новые стихи

Несколько слов родным в день рождения

В январе пришёл
я в этот свет.
К окнам липли
снежные морашки.
Пожелав мне много-много лет,
покрестили бабушки-монашки.

Лет прошло немало. И теперь
можно подводить уже итоги.
...Беды мои шуганули в дверь,
отбивая о пороги ноги.

И родилось счастье в той избе!
Только я не знал, друзья, об этом.
И, шагая по своей судьбе,
чаще вьюги слышал,
даже летом...

Милые любимые мои!
Не судите меня слишком строго.
Были в моей жизни соловьи,
майские весёлые дороги...

Было всё.
Что мне теперь сказать?
Или лучше помолиться Богу?

Хочется опять безгрешным стать,
собираясь в дальнюю дорогу.

Счастье есть у этого стиха!
Хоть и беды в дверь
стучались снова,
но, наверно, уровень греха
не позволил им сорвать засова...

Я прошу прощения у всех,
кто меня на белом свете знает.
Я грешил.
И пусть весь этот грех
лишь со мной
в сырой земле растет.

Милые, любимые друзья!
Я склоняю голову седую
перед каждым, без кого нельзя
повиниться, прежде, чем уйду я...

14.01.2018 г.

Памяти Сергея Иваненко

Мы уходим
в глубину веков,
Словно погружаясь
в бездну моря.
Мы уходим
от судьбы оков,
От любви, от радости
и горя...
Мы уходим.
Нам не хватит сил
Задержаться, посидеть
немного,
Поглядеть на тех,
кто сердцу мил,
Кто проводит нас
с тобой в дорогу...

За помин души...

Четыре свечи
стояли в ночи.
Гляжу на них –
до озноба...

Четыре родные
мои свечи,
родные теперь
до гроба!

и Гитлер победил
 в итоге?
За что ж мы
умирали в глубине,
задушенные в шахтах
 Краснодона?
Мы верили
 своей стране
до самого последнего
 патрона...
– Прости, Сергей!
Пришла беда
для всех.
Предательство вселилось
в наши хаты.
Фамилии известны –
тех и тех,
но мы и сами
очень виноваты,
поверив словно истине
 врагу –
болтливому посланцу
 преисподней.
И где-то там,
на дальнем берегу,
забыли верность
и слова Господни!
...А в это время
уж рассвет вставал.
Сергей Тюленин
в небе растворился.
Проснулся я.
Я спал или не спал?
Иль ангел,
мне, безбожнику,
явился?

Памяти Высоцкого

По-над лесом
птиц весёлых стая
лихо взнамерилась
кружить.

Друг мой,
на пороге мая
мы судачим,
как нам дальше
жить...

Расскажи мне
что-нибудь такое,
чтобы сердце
вспомнило года,
когда жили
мы с тобой в покое
и горела юности
звезда.

Чтобы сердце
вспомнило надежду,
что дарил
магнитофон «Маяк»,
что была всего
важнее прежде,
а потом поблекла,
как пятак...

Зори словно кони
вдаль уходят.
Словно бы спешат
на водопой.

«Всё – не так...», –
когда-то пел Володя –
раньше грешник,
а теперь святой.

Памяти
А.С. Рощупкиной

Материнская медаль

Мама, ты в Ростове
не была.
И про город этот
не слыхала.
Ты всю жизнь
в деревне прожила,
лишь в Елец старинный
выезжала.
Там в соборе гулком,
над рекой,
под молитвы ладан ты
вдыхала,
и болезнью скованной
рукой
медленно крестилась
и вздыхала,
вспоминая умершую мать,
брата, что фашист
огнём отметил...
Вспоминала, как смогла
ты стать
лучшей звеньевою
в сорок третьем.
Нет, не одевала
ты медаль,
что за труд
тебе, девчонке,
дали.

Твоя радость – солнечная
даль,

Твоя радость – дети
 без печали!
Та медаль игрушкой мне
 была.
Потерял её я где-то в
 кочках.
Ты грустить, конечно,
 не могла,
лишь слезинки вытерла
 сыночку.
...Так при чём же, мама,
 здесь Ростов?
День Победы, и над нами – лики.
Я живу здесь, человек
 простой,
Потому иду
в «Полку...» великом!
Твой портрет
над городом плывёт
рядом с флагом,
что под ветром
 бьётся.
Полк героев.
Он везде пройдёт.
Потому бессмертным
 и зовётся!

Молитва

Господи, прости!
Молю!
За открытость
и за лживость.
За уныние и живость.
За удачу, что ловлю.
Господи,
прости за страх.
И за смелость
в общем – тоже.
И за тех,
кто всех дороже,
кто со мной
в тяжёлых снах.
Виноват, что не сумел
поклониться им
при жизни.
Торопился вплоть
до тризны...
И остался не у дел.
Господи,
меня прости!
За всё то,
что сделал плохо.
Что Любовь в душе
заглохла,
Не успев и расцвести.
И живу теперь: всегда –
странный,
старый,
одинокий...

Правда, ночью
возле окон
ходит белая звезда.
Будто всё на свете
 знает,
и, конечно, – про меня.
И хотя и без огня,
но душа моя пылает!
Колокольчики звенят
в бренном мире,
словно раньше.
И грешу тихонько дальше...
Господи, прости меня!

В этом сне...

Вёсны на дворе,
зимы ли?
Нечего в этом сне
я не знал.
Только видел тебя,
любимую,
ту, что в юности
целовал.
Снится – юность,
давно забытая,
её песни тающий
звук...
Где-то солнце,
туманом закрытое.
Рядом радость
прохладных рук.
По щекам моим
катятся слёзы.
Ах, как поздно они,
прости.
А под ветром
шумят берёзы,
о которых душа
грустит...
Я люблю тебя,
тихо радуясь,
и волнуясь,
как молодой.
А над нами
восходит радуга,
словно флаг
наших душ с тобой!

Из-за леса кукушка
простужено
нам пророчит,
ничто не таит.
И звучат в этом сне
незаслуженном
дорогие слова
твои.

Прикоснись ко мне
нежным личиком...
Как весной пахнут
цветы!

Значит – май.
Тот самый,
величественный,
когда были сердца
чисты.

Я несу на руках
тебя нежную.
Снова светит
наша звезда.
Я несу тебя
ту ещё, прежнюю,
нецелованную никогда.
А Земля в чёрном
космосе вертится.
Как красива она,
погляди!

Смерти нет.
Есть любовь.
И верится:
всё у нас ещё
впереди!

Болит душа...

(от автора)

Недавно в мой кабинет главного редактора заводской газеты зашла осанистая, в годах женщина. И – с порога:

– Пришла попрощаться со своим любимым писателем!

Я невольно сжался в кресле. Никого кроме меня в кабинете не было.

– Ой, простите, – женщина засмеялась светлой почти детской улыбкой, – какую-то глупость говорю – «попрощаться»... Здоровья вам целую гору на долгие годы желаю. Просто это я ухожу с завода на пенсию, а когда работала, то на каждой вашей творческой встрече присутствовала. У меня все ваши книги с автографами дома есть...

Поблагодарив гостью за добрые слова в свой адрес, тут же подарил ей новый сборник прозы, которого у неё не могло быть. Когда за ней захлопнулась дверь, с теплотой на сердце подумал, что у меня есть свой читатель. Он немногочислен, учитывая мизерные тиражи моих книжек, которые я никогда не продавал, а лишь дарил близким и знакомым, да на встречах с читателями в заводской библиотеке, или на малой родине – в Липецкой области в Долгоруковском лицее, где когда-то учился.

Одним словом, меня и читают и печатают в журналах, антологиях. Но сегодня хотел бы поделиться не очень радостными размышлениями.

Дорогой читатель! Возможно сборник, который ты держишь в руках, последний в моём творчестве. Хотя у нас в авиастроении, как и в авиации, говорят «крайний».

Нет, может оказаться именно последним. И не потому, что я собираюсь в ближайшее время отдать Богу душу... Я и эту-то не хотел издавать. Выпал случай – решился.

Иногда спрашиваю себя: стоит ли тратить немалые силы на создание литературных образов?

И не писал бы, и не тратил, да вот душа подводит – словно кто толкает изнутри: берись за перо. И не поспоришь – звенят

в эти минуты колокольчики в сердце, которые впервые подали голос ещё в далёкой юности...

Суть этого письма в том, что сегодня в начале 21 века такое ощущение, что настоящей литературы в России нет. Никто в стране не занимается отбором лучших книг прозы и поэзии. Все конкурсы – междусобойчики. Даже некогда уважаемая мной «Литературная газета» иногда превращается чуть ли не в ярмарку графоманов, а лауреаты премии имени Антона Дельвига известны организаторам задолго до подведения итогов творческого конкурса.

Главное – нет государственной заинтересованности в воссоздании единого настоящего писательского сообщества. Вы хоть раз слышали разговор о роли писателей России в репортажах с заседаний Государственной Думы или Совета Федерации?

Словосочетание «современный русский писатель» или хотя бы слово «литератор» не озвучил пока ни один кандидат в Президенты страны.

Как не относиться к И. В. Сталину, но известно, что в середине тридцатых годов на квартире А. М. Горького он сказал, что писатели – важнее танков и пушек. Потому что танки и пушки только тогда пригодятся на защите государства, когда за прицелами этой грозной техники будут находиться солдаты, воспитанные писателями, как патриоты своей Родины. Так и было в годы Великой Отечественной войны! Сурков, Симонов, Эренбург, Полевой – стихи и проза этих и других писателей и вели в бой солдат и командиров под Москвой и Сталинградом, под Курском и Будапештом...

*Жди меня
и я вернусь.
Только очень
жди...*

Сегодня в обиходе, в периодической печати нет хорошего художественного слова, совсем исчезла из нашей культурной среды тема писателей-почвенников – настоящих патриотов России. Таких стараются отодвинуть на второй, а то и на третий, пятый план. За примерами далеко не ходить. Кроме как на малой родине, в Иркутске, мало известен замечательный поэт Анато-

лий Кобенков, к сожалению, недавно ушедший из жизни совсем не в старом возрасте. У нас на Дону в хуторе Можаявка Тарасовского района в нескольких километрах от Украины живёт выдающаяся поэтесса Виктория Можаява.

Где их книги? У Виктории есть несколько сборников тиражом 200–300 экземпляров. И – всё! А разве можно замалчивать такие стихи:

*Мы отпразднуем
Когда-то День Победы.
Водки выпьем
и картошки напечём.
И давнишние и нынешние беды
вдруг окажутся, как будто нипочём.
Мы отпразднуем
великий и родимый...
и в небесной беспредельной вышине
улыбнётся молодой и невредимый
дед мой, без вести пропавший
на войне.
И ребята, что погибли на Донбассе,
С нами будут праздновать тогда...
А пока что этот день у нас
в запасе.
До рассвета.
До Победы.
До Суда.*

Нет хороших литературных критиков, почти нет настоящего профессиональных журналов... Многочисленные Союзы писателей влачат жалкое существование. Нет того, этого, пятого, десятого...

Скажем, на мой рассказ «Тополиная аллея» доктор философских наук, член Союза писателей только и смогла съязвить: «Калька» с рассказа И. Бунина «Солнечный удар». Не впечатляет».

Ладно, пусть не впечатляет, но причём здесь Иван Алексеевич Бунин? Спасибо, конечно, что поставили рядом с великим именем мою скромную фамилию, но ради чего это сравнение?

Фабула иная, да и живёт мой герой совсем в другое время, когда изменились, к сожалению, многие понятия о настоящих страстях, чести и честности.

Выходит, это торопливое сравнение сделано ради демонстрации личной эрудиции?

Одним словом, создаётся впечатление, что сегодня никому не нужно, что пишется всерьёз и талантливо. Все шире становится окололитературный мир, отрицательно влияющий на развитие самой литературы. В центр внимания выходят откровенные русофобы типа Л. Улицкой, Д. Быкова и других.

Помню, как однажды вечером в кафе на улице Пушкинской пришлось сидеть рядом с одним гостем-литератором из Краснодара. Я тогда чуть не разбил лицо этому деятелю, который хамски, по-женски с придыханием рассказывал гадости про Виктора Лихоносова, одного из лучших писателей России.

Таких, как Виктор Иванович, всё меньше и меньше. Их даже иногда отмечают различными дипломами, до небес воспевая дух благородства и вскоре забывая о них на долгие годы, до траурной рамки на последней полосе газеты.

Литература в нашей традиции – базовый вид искусства. А если этой базы нет или есть лжебаза? Тогда и появляются эпатаж, экстрординарность, «оригинальное» прочтение истории. Всё это именуется современной литературой. Авторам дают кучу премий, сюжеты победителей экранизируют, тащат на сцену. Поэтому и сваливается на зрителей такой ужас, что даже прекрасные актёры, которых у нас всегда хватало, не могут «вытянуть» спектакль или фильм, а лишь «сраму имут»...

К примеру, царствуют у нас режиссёры, кому национальные интересы «до лампочки»: Кирилл Серебренников, Василий Бархатов, выводки гнезда когда-то великого актёра Олега Табакова... Они и без В. Распутина, и без В. Белова обходятся. А «бедных» классиков А. Чехова, М. Горького, Л. Толстого так на сцене переиначивают, что те, наверное, в гробу переворачиваются...

Зачем тогда писать? Зачем публиковать в малотиражной книге всё, что наболело, отчего ноет сердце?

Близкие мне люди говорят: «Не пиши. Всё уже написано до тебя», намекая на классиков русской литературы 19 века.

Да согласен я! Всё, что надо написано, но процесс создания новой литературы всё равно не остановится. А пока словно огромный диск жёлто-яркого солнца встал над миром доллар в виде блестящего металла, ослепившего многих на фоне зеленоватого цвета тех же долларовых купюр... А на этом фоне, за этим сиянием, от которого до боли режет глаза, всё увереннее и наглее проглядывают пошлость, графоманство, искажение истории великой нашей Родины.

«Ой, день – день – день, деньги, денежки// Сладше пряника, милее девушки...», – пел когда-то в яркой водевильной комедии «Сватовство гусара» великий актёр Андрей Попов. Шутил. Сегодня не до шуток! У меня растут пятеро внуков. Что они будут читать, слушать, смотреть?

И всё же, сдавая в печать рукопись этой книги, надеюсь, что мне перед ними будет не очень стыдно...

**Анатолий Рощупкин.
Февраль, 2018 г.**

Содержание

Живут во мне воспоминания... (фрагменты повести «Вечерний монолог»).....	3
---	---

РАССКАЗЫ

Прощай, ива.....	33
Лунный сон	42
Сирень цвела.....	45
Ничего не случилось... ..	51
Подарок	58
Текущая вода.....	64
Ночная беседа.....	81
Тополиная аллея.....	85
Жизнь Калерии.....	98
Журавли вернутся	110
Всё ещё сбудется	118
Ночь на лестничной площадке.....	123
Было, не было... ..	125
Смешной случай.....	138
Дождь на мосту	142
Перед рассветом	147
Ужин при свечах.....	149
Маэстро	152
Прикоснись осторожно.....	155
В книжку – про Аришку.....	157

ПОВЕСТЬ

Поезд в деревню.....	161
----------------------	-----

НОВЫЕ СТИХИ

Несколько слов родным	184
Памяти Сергея Иваненко	186
За помин души... ..	187
Разговор с мологвардейцем	188
Памяти Высоцкого.....	190
Материнская медаль	191
Молитва	193
В этом сне.....	195
Болит душа.....	197

Литературно-художественное издание

Рошупкин Анатолий Васильевич

Текущая вода

Издание второе, дополненное

ISBN 978-5-91951-499-2



Компьютерный набор – Л.А. Слюсаренко
Верстка – И. М. Сиренко
Фото – С.Н. Казмин

Сдано в набор 16.11.2018 г. Подписано к печати 28.11.2018 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Заказ № 1190.

Отпечатано в типографии ООО «Альтаир»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55.
Тел. 8 958- 544-59-27, 8 (863) 219-84-25.
E-mail: oooaltair_office@mail.ru.